

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН ДОЧЬ И КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МИРА



Владимир
ГАНДЕЛЬСМАН

ДОЧЬ И КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ МИРА

(1995–2025)

БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ПУБЛІЦИСТИКА



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

Владимир
ГАНДЕЛЬСМАН

ДОЧЬ И КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ МИРА

(1995–2025)

Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2024

УДК 821.161.1'06(73)-14
Г 19

СЕРІЯ «Библиотека “КРЕЩАТИКА”»
Заснована у 2023 році

Гандельсман В.

Г19 Дочь и краткая история мира / В. Гандельсман —
Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2024 — 256 с.

ISBN 978-617-7955-61-9

Вторую книгу Владимира Гандельсмана составляют стихи первой четверти XXI века. Об этих стихах писала поэт Татьяна Вольтская:

«Владимир Гандельсман как будто хочет восстановить не только все детали той жизни, о которой пишет, но самый состав воздуха, его теплоту, игру света — он занимается воскрешением времени — привет Николаю Федорову и его воскрешению отцов — которое обрачивается преобразованием времени в иное вещество, в субстанцию вечности. Поймать бабочку, но не приколоть ее булавкой к листу бумаги, а чтобы она, пойманная, теперь уже всегда порхала, металась, дышала крыльями. Это невозможно — и все же возможно, вот же:

“маленькая жизнь вот-вот закатится, / от себя как будто отрешается — / и тогда — ты не смотри, что пятится / и что в зеркале всё жальче отражается” —

вот он, бабочкин, стекольный, воздушный трепет, дребезг, полет в бесконечную зеркальную даль, куда слетается по крупнице все мимолетное, неважное, хрупкое, оказавшееся вдруг самым важным, самым прочным, самым дорогим».

УДК 821.161.1'06(73)-14

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)
ISBN 978-617-7955-61-9
ISBN 978-617-7955-65-7 Т. 2

© Гандельсман В., 2024
© Федоров О.М., видавець, Київ 2024

ДОЧЬ

Надпись на книге

О сердечной тяжести
или радости, дочь,
о гудке, огласившем ночь,
о его протяжности.
Упадет звезда — не моргну.
Все навеки проявлено.
Небо гарью приправлено —
надышаться им не могу.
Это детство мое с такой
нежностью приглублено,
точно там и полюблено
то, что станет тобой.

1. Нас впитавшие вещи

Слегка о скитаниях.
О внутренних, о живых
картинах скитаний. О катаниях
с горок твоих
во дворе Ленинграда,
в его ледяном дворце.
Помнится, ты мне рада.
Что ты нашла в отце?

Я смотрю теперь
больше на вещи, чем на людей.
Зорко смотрю. Поверь,
вещи — святых святей.
Нас впитавшие (тех,
взглянувших на них
одновременно) — смех
и слезы твои и мои, — живых.

2. Одни на пляже

Прислонись к вещи
слухом — услышишь: плещет.

Прислонись взглядом —
как скупец над золотом,
над своим закатом
задрожишь, над ее восходом,
ее востоком.

Пярнуское побережье.
Сентябрьское брезжит
солнце тем острее, чем реже.
Где-то собака брешет.

Вижу, как ты бежишь по песку.

Что-то я должен сказать,
чтобы унять тоску.

Море слепо себя мерещит.

3. Мистулансаари¹

Северный пруд.
В пункт проката идем.
Этот на карте пункт,
населенный судьбой
долгой, еще незримой,
нас вбирает и, верно,
заключает в себя.
Чудо-тюрьма
благословенна.

Вещь отдает
морозом, снегом, зимой.
Вещь себя выдает
смерзшейся бахромой:
шарф ли это, перчатка,
шлейф ли вечера синий —
вещь себя выдает,
как на прокат
финские сани.

¹ так Елагин остров назывался по-фински.

4. Дочь засыпает, я становлюсь на вахту

Я о боли
что-то скажу
и о страхе сердца невинного.
«Спи, младенец мой...» — напев лучистый
возьми в дорогу.

На приколе
лодка, межú
ты перейдешь от паутинного
страха, и когда явится чистый
сон на подмогу,

лучшей доли
не заслужу:
ночь, котельная, свет пустынного
неба в стылой реке, воздух льдистый,
равный ожогу, —

не чудно ли? —
я выхожу
на набережную Мартынова
увидеть лермонтовский кремнистый,
внемлющий Богу.

5. Ее пробуждение

Проснуться среди ночи в комнате
и обнаружить,
что ты один, — себя обрушить
в себя. Окно в снегу и копоты.

Тот первый приступ одиночества,
почти смертельный:
впрямик — из теплоты постельной —
один. Ни имени, ни отчества.

Беги, дитя, сбегай по лестнице
в декабрьский холод,
зови их, умахнувших в город,
где блеск огней и окоlesiца.

Не празднично, дитя, не пьяненько,
все это позже,
а нынче — первозданной дрожи
бесценный опыт. Ночь и паника.

6. Ты

Залюбуюсь, дитя, тобой,
даже не вглядываясь в черты.
Как останавливается форма на той
точке, которая ты?
Если я узнаю тебя в ней,
значит, мы были прежде и будем впредь.
Что бескрайнее и ясней
радости на тебя смотреть?

7. Гост

За пианино в доме и старание
двух нерадивых рук
сыграть «Январь», пока за гранью
стекла зима очерчивает круг,
за горло, перехваченное жалостью,
за штукатурку стен
облупленных, за «сердце сжалось»
в одном романсе, за сквозной рентген
двора, где деревца стоят раздетые
и ежатся и дрожь
бежит по веткам, за газету
на стенде, за торжественную ложь
передовиц, за все, что не забудется
и что забылось там,
где ты одолеваешь будень
впервые в жизни (труд не по годам!),
за угол наш на улице Чайковского,
за елку в том углу,
за детское в колонку войско,
штурмующее снегопад и мглу.

В цветных плоскостях

1

Только тайна тайн,
перебирая воздуха ткань,
темное серебро расстояний,
Петропавловского графина грань,

люблю мглу,
гулкую под ногами глубь,
к булочному теплу
желтому еще льну,

возвращений прищур,
в блеске причуд
замысла не ищу,
раз подарен приют.

2

О, помещённость
в тихий раствор
дымков дыханий еще есть,
осени парусиновый сор,

из молитв
все еще состоим счастливых,
жизнь не моя меня изумит,
в темных дыша приливах,

поздний известки подъезд,
входишь, захлопнув звезды,
все о тебе затопляет весть,
и не бывает розно.

3

Пыльной музыкой ДПШ
надышавшихся детств,
темным пригородом кружа,
о, принуждений свет,

в горле комом так и застрял,
чтоб с ума не сойти,
ты своими стихами стал,
ими и перепрятан, поди,

в них тебя не найдут, найдут
лужи блеск нефтяной,
фортепьянный напрасный труд
врет без промаха за стеной.

4

Мы здесь бродили,
берег родимый, берег родимый,
как далеко нас везли
забыть на краю земли,

здесь и учили
нотам, плаванию, языку,
в страхе потом сличили
нас до и после — нашли тоску,

нет, не имею
больше к тебе отношенья, дитя,
медлить нельзя и уйти не смею,
берегом тихим бродя.

5

С этой горечью не знаю сам,
но поверх нее, поверх,
как выныривает к небесам
быстрый птичий век,

ничего и не грозит уже —
в этой точке я иду,
в этой я лежу лицом к душе
и лопатками ко льду,

чистая беспримесная даль,
ставшая жильем,
но любви так жаль,
пусть не быть, но и тогда вдвоем.

6

В этой ясной кривизне
и цветных плоскостях
человек идет на дне,
вдруг его охватывает,

быстро, быстро он дрожит
и взлетает горсткой
снега рассыпаясь шрифтом
свежей верстки,

я ведь был в гостях,
все забыл в гостях,
вдруг объял меня великий
и исчез впотьмах.

P. S.

Если однажды не вынырну
(жизнь, как ты знаешь, убийственна),
я тебе боль верну.
Она единственная.

Ей не нужны враги —
только любимые. Как почернею дóчерна,
ты ее береги,
чтоб оставить в наследство дочери.

Береги, не развей,
хоть и нет в боли красоты...
Для кого? Не смей, оставь для своей,
потому что моя — это ты.

Дверью хлопнула и ушла.
Душа моя как слегла.
Не хотел помнить зла,
слегка

научился мысль отводить
от тебя. За десять лет
мог и вовсе забыть.
Но нет.

А теперь мысль не отвожу —
так жестока, что с ней
перед небытием не дрожу.
Жить — страшной.

Она подошла к дому,
в котором умерли
я и моя жена.
По очереди.
Не помню кто за кем.

Последние десять лет
мы не виделись,
хотя жили в одном городе.
Что-то ее отвратило.
Наши раздоры?

Она подошла к дому.
Окна молчали.
Ни следов дыхания,
ничего.
Ветреный февраль ледяной.

Замерла возле дерева,
где мы обычно
кормим белок.
Ни ореховых ошметок,
ни белок.

Из подъезда вышел сосед.
Она вздрогнула.
А что такого?
Мало ли что бывает...
Чужой, не бойся.

Запад горит закатом.
К остановке
она идет осторожно,
чтобы я не услышал
ее шагов.

Песня

Что было дочерью —
стало горечью.
Грустит, куражится?
Может быть, кажется,
что все увяжется

в узел — и с глаз долой,
неживой золой,
чтоб шито-крыто и
на дно убитое
легло забытое.

А если маяться
будет, матери
хватится, хватится —
страдать повадится?
Все ли утратится?

Чем грустью полниться,
лучше не помнить
того, кто значится
родней и плачется.
Лишь бы не нянчиться.

Мне только боязно —
не было б поздно!
Еще заявятся
призраки памяти —
а вдруг не справится?

Смеется, радует
друга? Празднует?
А дым развеется —
как ей сумеется?
Все перемелется?

Что было дорого,
стало мороком.
К тому, кто справиться
не смог, протянется
рука? Проявится

из тьмы сочувствие,
а не умствие?
Кому наплачется,
кому напляшется.
Само уляжется.

* * *

То ли крестиком вышито,
то ли ноликом, то ли,
талинó-талинóли,
нам ниспослано свыше то,
что обуглилось в боли.

Это выжато, прожито.
Верно путь ли торили?
Литарí-литарíли.
Боже правый, да что ж это
мы с тобой натворили?

Окон всплесками улица
по стене полубредит.
Пусть две тени приветит.
Что нам светит, безумица,
да и светит ли, светит?

Элегия с недостающей запятой

На отшибе дом викторианский,
ракушки морской белей.
Пруд невдалеке, подернут ряской,
с цаплей одноразовой. Сарай.
Ранних подмороженных полей
даль сердечной болью поверяй.

Дочь моя четырнадцатилетней
девочкой стоит в дверях,
угловатой, трогательной, бледной,
несравненной. Дует из прорех.
И бесшумно гроыхает страх
будущего, как пустой орех.

Есть еще соседка, та, которой
нет на свете. В январе
вдоль Гудзона пронесется скорый.
Длись, заря, ты сокращенно — зря.
Пусть твоей потворствует игре
снег. Ему всегда до фонаря.

Дочь. В руках стеклянная вещица —
шарик. Беглый разговор.
То и дело взгляд ее лучится.
То и дело взгляд соседки внутрь
отступает, точит ее хворь.
Холод просыпающихся утр.

С духом собираясь, кофеварка
цедит кофе в тишине.
Радостно, печально, горько, ярко,
непреложно. Изначальны дни.
Вдаль и вширь, в крови или вовне.
Все запомнил? Боже сохрани.

БЕЗ ТЕМЫ, ВРАЗНОБОЙ

Стихи

Тайн хранитель, тайну выдай
и из трубочки своей
шар стекла прозрачный выдуй,
в ветвь стиха его извей.
Зимним ливнем, летним градом,
оперением реки,
электрическим разрядом
вдоль искрящейся строки
лень души и разум косный,
бездыханный сон мирской
просквози молниеносной
и вседышащей тоской.
Груша выльется из колбы,
новым деревом взойдет,
лишь толпою капель шел бы,
шел бы точный звездочет.

Даль

Обелиск, фанерный ворс,
пересадка, Гомель,
братские могилы, Щорс,
даль, речная отмель,

синь в разрезе облаков,
окунь в красных метках
с ослепительных боков,
слепень в латах медных,

железнодорожный мост,
поезд-отголосок,
позолота блёклых звезд,
стадион «Колгоспник»,

в пыльном стенде для афиш
за стеклом — составы,
в жадном чтении стоишь,
сухо пахнут травы,

белых семечек кулек,
в шесть рядов трибунка,
как ты сам себе далек,
нет тебя, ребенка,

чуткий бог тебя творил,
чаял встречи тайной,
чудным опытом дарил
чистоты случайной.

Проездом, лучшее проездом, —
тем переблеском паутинным,
или брусничным перелеском
и тянущим, болотно-тинным

лиловым холодком соседним,
или ветлой, задетой ветром,
и резким воздухом осенним,
его хрустальным кубометром.

Чей прах так явственно развеян
в вечерних отсветах продольных,
что я к тебе прикосновенен,
покоя мотыльковый промельк?

Петербургское

О ночном, морозящем,
морозящем, ночном,
прямо в сердце разящем,
несравненном моем,

о промозглом спектакле
бликов на мостовой,
о бессмертии в капле
золотой, дождевой,

только в нем унывалось
и счастливилось в нем,
только здесь удавалось
раствориться в родном,

так подсвечен, что мнится
из небесных кулис
тот и выйдет, кто снится, —
серых улиц Улисс,

воротник приподнимет,
поведет за собой
и внезапно покинет,
упокоясь в сырой,

только в этом повторе,
с расстояния лет,
я согласен на горе
как на пролитый свет,

на его нарастанье
в морозящем, ночном,
на земное прощанье
и родство в неземном.

* * *

Будешь мелкой дрожью еще дрожать,
вспомнишь всех, кого обошел,
чьи гноились раны, кого дожать
соковыжималки чаял божок,
кто в палате, в этом, по сути, зле,
пить (а нету!) просил, хрипя,
и больница на гнилой земле
волком выла поперек себя.
Всласть дышать хотелось, а не сидеть
среди наволочек-простыней...
Утром, накинув солнечную сеть,
шел, и блаженствовал, и нежился в ней,
и не ведал, что, не превосходя
самого себя, не дано видеть, дитя,
суть вещей, и что жизнь, заметь, —
просто сплетня, если не помнит смерть.

Отвесной ясности паденье,
квадраты света и теней,
октябрь — прямое попаданье —
когтябрь для ястреба затей —
в прозрачное произведенье.

Вот до-ре-ми, вот фа, вот гольфа
сползла, и в преломленье слёз
стоит не-воин в поле гольфа
с замахом стали вверх и вкось, —
и гамма вспять: до, си, ля, соль, фа.

Так точно инструмент настроен,
как с ягодами про запас
в бутыли летний свет настоян,
и более того: сейчас
он будет вдребезги утроен.

От крыши красного амбара
стена займется и фасад.
Октябрь отвесного удара.
В трех измерениях искрят
осколки авторского дара.

Сон

То афиши край оборванный,
то рябой газетный стенд,
как во Мгу сероплатформенный
удаляющийся свет,

брат июньской ночи, пасмурный
день декабрьский, час иль два
все же бликами прекрасными
одаряющий дома,

снится пристально, особенно
накануне января,
в задымленном небе огненно
над Исакием горя,

легкий блеск игрушки елочной,
хрупкой частности страна
все бренчит копилкой с мелочью,
золотиста и темна,

растопырив руки, ощупью
пробираясь, слышишь люк,
оглашенный мертвой площадью
сна, — и вздрагиваешь вдруг.

Осень

Проглаживают простыню реки
нетонущие уютюги,
и невидимый ветер
отражением в Лете
тянет по небу облачные тюки.

В кронах пробегает сеттер
рыжий или рыже-серый,
и смерть как расплата за жизнь,
чьей щедростью не дорожишь,
видится полумерой.

Помнишь, мы родились
в свет, в яркость,
в голоса
окликающих нас матерей
в январском дворе?

В каждый новый миг
мы не умели видеть
смерть предыдущей —
ничто еще не умирало в ту пору,
даже секунда.

Помнишь, все были живы?
Еще не измерено было горе
в единицах слёз
и никто не стоял,
прикрывая ладонью рот,
в тишине утраты.

Только пространство и отпечатки
люстры или дёревца
на сетчатке. Время
не наступило еще на пятку
Ахиллеса, и эпос
пастбищем был, а не бойней.

Не было этого «помнишь»,
потому что *нас*
помнили, а не *мы*.

Нам еще предстоял тихий
ужас воспоминаний,

когда начинает идти
время, уничтожая
радость простую,
радость пространства, —
с первого воспоминания,

которое я забыл.

Ты

В тело встроен,
чтоб накапливать боль,
отчего же ты скроен
жизнежаждущим столь?
Шепотком еле слышным
дождь моросит,
от земли в метре с лишним
твое сердце висит.
Бог рассвета в единый
миг тебя
точно нить паутины,
сдует со лба.
Шаг, шажок, боязливо
с проселка свернешь,
выйдешь к бухте залива
и себя не найдешь.

Голос

Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу:
а кто мой ближний?

Евангелие от Луки, 10:29

Что себя наряжаешь?
Только боль жива.
Почему возражаешь,
хочешь большего?
Если единокровен
жизни, вровень
стань с ней молниеносно,
как отвесные сосны.

Разве вымерли пчелы
в той обители,
где цвело? Огорчен ли?
Не в обиде ли?
Захотел благодати?
Бога ради.
Стань послушнее глины
на ладони долины.

Звезды зыбки, но зорки.
В этой повести
ни к чему отговорки
ушлой совести.
«Ближний кто?» — ропот лишний.
Ты твой ближний.
Шаг тебя совершает.
Вера не вопрошает.

Пруд застелило листьями,
которых пруд пруди,
и дереву, как истине,
я говорю: свети!
До угасанья — несколько
прозрачно-тихий дней,
и мне, пока я здесь, легка
печаль и смерть ясней.
Качнув кленовой веткою,
возник олень и стал
стеклянной статуэткою,
и глазом заблестал,
и я спросил: в обыденном
такое существо
откуда? — став невидимым,
чтоб не спугнуть его.

Сегодня

От всех слепящих кленов и осин,
от воздуха чуть горького на вкус,
от осени — так непереносим
свет при секундном страхе! — заслонюсь.
Не обещал тебе и никому
не обещал я славить этот мир,
который на просвет являет тьму.
Тлетворный страх — мой верный конвоир.
Что смерть? Ничто? Ни тела, ни души?
Ни осененных позолотой дней?
Не окна в сад сегодня хороши,
а шторы потемней и поплотней.
Зато теперь, глотая темноту,
узнаешь из придонного угла,
чего лишен живущий на свету:
тоски по дням последнего тепла.

В автобусе

Возле госпиталя. В окне
человек на плакате в разрезе.
Он висит на стене.
Парк поодаль в декабрьской аскезе.

С неба — изредка — солнечное стекло,
но бесшумно.
Вдруг строка. На мгновенье светло.
Успокойся. Не плачь. Все разумно.

Да? А смерть?
Нежно-мягкая поступь Иуды?
Где мы едем? Не уразуметь.
Светотени причуды.

Прокопченных ремонтников труд.
Светофоры мерцают.
Тот же самый вчерашний маршрут.
Мать дитя порицает.

Мать ребенка растит.
Разве можно при гражданах? Грустно.
Подрастет — не простит.
Нищий. В шапке затравленной — пусто.

Ты не плачь, дорогой идиот.
Как не плакать, когда оно давит?
Ничего. Кто-нибудь подойдет,
милосердие явит.

Отворяются двери. Шофер за рулем.
Виноград на лотке, мандарины.
Ангел белым крылом
машет мне из витрины.

Январское

Первый день января
странно пуст.
Как коробка из-под подарка.

Хвоя. Утро повешенного зверька.
Вмерзший в раму оконную куст.
Отдаленно, не ярко.

Входишь в комнату. Стол
недоубран.
Ты зачем туда шел?
Так... Я утром зазубрен.

А скажи,
что за слово — «мастика»?
Или слышу всю жизнь: «гаражи».
Объясни, но без крика.

Гаражи? Это крах
языка.
Тарабарский, он страх
одинокий зверька.

За стеной Ибрагим.
Сын Шамиль.
Разве мог я родиться другим?
На рояле секундная пыль.

Если хочешь — сотрем
и забудем.
Что вообще мы с твоим январем
делать будем?

Первый день января как-то гол.
Впился — видишь пиявку?
Стой, куда ты пошел?
На поправку.

Глаголы

Надо в марте родиться,
чтоб лазурью апрельской
в поднебесье разлиться,
в мае — солнечной леской
проблестать или спицей
в колесе, налегке
подлетая к реке.

Над ракушкой-моллюском
наклониться в июне,
выйти лесом июльским
в август, а в полнолуние
сентября, накануне
холодов, присмиреть —
на деревья смотреть.

В октябре — надышаться,
в ноябре — затаиться,
в декабре — продержаться
и дождаться гостинца,
в январе белым взглядом
притянуться к земле.
Умереть — в феврале.

Конькобежец

Покуда вымер и затих, в зиме ночуя,
не чая выспаться, часов не чуя,
районный центр, и нет рабочих толп,
и падает безмолвно ртутный столб,
один не спит, в тугом комбинезоне
ко льду клонясь в размашистом разгоне, —
на повороте пересверк
коньков, — покуда, выдохшись, померк

районный центр, раскатисто кругами,
чуть накреньясь, касаясь льда руками,
вписавшись с хрустом в поворот,
он исподлобья правит ход,
в тугом комбинезоне конькобежец, —
веселый бог-морозовержец
его иглою по пластинке — лед искрит —
ведет, и фосфорный фонарь горит.

Архитектуру января, бег циркулярный
в стране полярной,
расчисленный, как вдох и выдох, вдох
и выдох — что с того, что мир оглох,
ослеп, оглох? — один прохожий поздний
увидит навсегда, проезжий, звездный
увидит мир, в котором заперта
жизнь, вырываясь паром изо рта.

Рай

Все высветилось и — предстало.
Стих уличный гул.
За шиворот капля упала.
Прохожий на ветку взглянул.

Сегодня им не разминуться,
прохожему с каплей, и вот
какие-то дети смеются.
Какая-то краля идет.

На тоненьких ножках, с котенком
в руках, поспешает она,
и легкой приправою к тонким
добавлена чуть кривизна.

Ей вслед — так игрива походка —
присвистнул строитель с лесов,
и счастливо дышит красotka,
не ведающая часов.

День солнца и ласковых выдач
упавшего с неба тепла.
Не так ли, Борис Леонидыч?
За шиворот капля стекла.

Снежок возле дерева талый,
и песню заводит свою
улыбчивый нищий: «Пожалуй,
я умер, поскольку — в раю».

Улица Жореса

Какая улица? Жореса.
Жореса? Жана?
Сосновое дыханье леса.
Сновск. Снов. Осанна!

Хрип паровоза донесется,
и этой хрипью
и гарью воздух отзовется.
Постой, я выпью, —

пока не побледнело лето,
не задохнулось,
пока не сгнуло бесследно
то, что коснулось, —

за выжженное солнцем поле
и матч футбольный,
за дальний бег реки на воле
и блеск продольный,

за пенье вечером с прищелком
и птичье слово,
за улицу с холодным шелком
песка босого.

За все сосновое, речное,
Сновск, Снов... Осанна!
За имя девочки ночное.
О, донна Жанна!

Двадцать лет как ее не стало.
Страх сегодня возник ниоткуда:
нет ее и никогда не будет.
Жалость смертельная жала.
Разве может быть так непрочно,
оглушительно и бесправно,
чтоб исчезло невозвратно то, что
говорило и дышало явно?
То, что суще-ство-ва-ло.
Как суставы, ощупывай слог.
Нет ее, и, если любви твоей мало
воскресить, прочь с дороги.
Страх есть только, пока дышишь.
А потом забудешь бояться.
Так исчезнешь, что не услышишь,
как тебя хватятся домочадцы.

Пловец

Постоим у моря синего,
синего,
постоим и проводим
взглядом...
Я и сам что-то зимнего,
зимнего
холодка знобкого чувствую вроде,
рядом.

Постоим у синего моря
мерного,
постоим и увидим
точку:
то пловец, с волною споря
иль вторя
ей, маячит денно — чудесно быть им! —
нощно.

Телом быть на правах сильного,
сильного,
чтобы мысль и не снилась,
тешась
небом и моря синего,
синего
впитывая — как последнюю милость —
свежесть.

Стойческое дерево

Побелели корни мои, повылезли —
вот я, на берегу.
Оглянусь на лес и
увиджу: шебуршит, ветвясь торопливо.
Я не сторож лесу, тишину стерегу
на краю залива.

Я забыл себя, как античная фреска.
Многознание уму
(говорит эфесский
муж) не учит. Забвенье учит, стоянье:
в полночь — впитывать тьму,
на заре — сиянье.

Я зажат пластинами подземных тисков,
но слеза не течет,
но вовеки веков
ты не сыщешь того — на миру, где стою, —
кто притворством сочтет
крови кротость мою.

Самое время молча дорожить речью,
и, держа свою статью,
той волне навстречу
идти неподвижно, корнями голо
впившись в почву, чтоб стать
веществом помола.

Ваятель

Гром ли громыхал
или горячо
солнце било без промаха
в темя, в плечо,

были труды просты,
гнули к земле. Не бог —
человек из глубин пласты
нутряные волок.

Или на бездорожье
сидел без сил —
смертной дрожью
страх по лицу скользил.

Но силой нам не
мериться.
Он был сердцем камня.
Камнем сердца.

Не глядят вдаль воле...
Солнце жгло.
А что в землю вдавливало,
к небу взошло.

Прощание с баржой и отроком

Шел по набережной чуть дыша.
Волны на руки мне просились.
Чуть колеблясь, стояла баржа.
Мы простились.

Оглянулся — увидел на ней
семь огней.
Сверху три и четыре по борту.

«Ну, ни пуха!» — вдогон
голос матери. Взгляд на балкон
сына: «К чёрту».

(Там — за каждым балконом свое —
зажигалось жильё).

Шел по набережной. За рекой
вечерел городок никакой.
Хадсон-округ.

Что в футляре его? Геликон?
(«Ну, ни пуха!» — вдогон...)
Кто ты, отрок?

Кто бы ни был ты, ангел с трубой...
Да какое мне дело?
Я навеки прощаюсь с тобой.
Вслед баржа загудела.

Два окна

1

за окном закипела корона.
я проснулся, душа спала.
было сумрачно, и промозгло, и рано-рано,
и хотелось тепла, тепла.

листья, листья весь день сдувало
и прижимало к стеклу
так, что горло сдавило,
и в холодном углу

неба, неба зажглась непраздно
и промерцала звезда:
будет поздно, так поздно,
как еще не было никогда.

и деревья возникли в теме,
постучавшей в окно, —
по краям — два — с разбойничьими ветвями
и с прямыми — в упор — одно.

2

не могло не быть неба. небо
живущему — то, чему
казанная треба
незачем, считывать ли с него тьму,

свет или косые плети
ливня. всё — благая весть.
что стихи как не минеи-четыи
узнаваний того, что есть?

двор ли это, озябший дворник
в картузе набекрень...
что стихи как не изборник
прощаний на каждый день?

пусть он гаснет, в поле не воин,
и окно по зиме — офорт.
если мертвый твердит: «я мертв», —
он живой, говорю, живой он.

Вроде крошечного вихря
взвился снег за окном — дотлел
день и, прах свой развеяв тихо,
просветлел.

смерть на берегу

небо несчастному босо,
лысо, да и наплевать,
времени рябкое просо
носом клюет, чтоб склевать.

дурно ему. он икает.
море унывно сквозь сон
все на песок набегают.
раз — и скрутилось в рулон.

два — бездыханное тело.
где там душа? отделись!
бабочкой отлетела
в неба несметную высь.

непостижимость несметна,
только она и жива.
а постижимое смертно.
куколка — видишь? — мертва.

если уж небо — набатом,
громом его тишины,
если уж море — накатом,
властною лаской волны.

если уж время — пространством
света, не этим, иным,
таинством и постоянством
таинства вневременным.

почти летя

как птицу кареглазую сберечь,
сидящую на подоконнике?
не написать ли хроники
предвечных встреч?

как день начальной осени насквозь
прошил мое стихотворение,
как боковое зрение
тобой зажглось,

как на террасе пили апероль —
ты клювом, я через соломинку —
и солнца луч истоминку
дарил нам столь

счастливую, что я, словно дитя,
был полон тайными всесильями,
а ты махала крыльями,
почти летя.

на исходе осени

перелістнется
в золотую,
а когда облетит — затаится,
и приблизится,
и плотную,
вплотную
и вслепую стынь-полночь-темница
так приластится,
убивая,
что дыханье тихое деревца
вдруг разладится,
убывая.
только стая,
стая снега в ночь мою всвѣтится.

шепотом

игры в прятки Твои...
подпою:
«что тайшь, то и тай» —
«и таю, и таю, и таю».

свет в темноте.
никого нигде.

«нет, не хочу гадать.
я иду искать.
как еще провести
время мне? просвети».

«водишь? вот и води.
тонким пером води.

ты перед лицом
ясности, ты
перед отцом
и матерью — их черты

высвечены, и это свет
тех, кого нет».

каприччио

росою утренней искрящее,
рекою блещущей разящее,
за ним мелькало по пятам
само себя бессчетно длящее
чудесное мгновенье там,

где — сокращу — животрепещее
есть слово вещее.

все это счастье предыдущее,
все, к восхождению ведущее,
пока маячило оно,
он пел строкою всемогущую,
светящейся строкою, но

как обозначить настоящее,
на нет сходящее?

через сорок пять лет

угол Киквидзе и
Артиллерийской, двадцать
дробь тринадцать. кто там? — свои.
если вкратце.

два окна на третьем
этаже, слева от водосточной.
видишь, в свете заката? в свете,
если точно.

там родилась моя дочь. беда,
в памяти тонешь.
комната, ты заходил туда,
если помнишь.

помню. но что-то застит, прости,
самую сердцевину взгляда.
мне надо идти. иди,
если надо.

Царское село, 2023

окна

окна в доме напротив — сухощавая,
в мелких запутанных кудряшках —
ее муж, ее собачка, ее слащавое
вечное сю-сю, пёсичек, любимая ряшка, ах! —
и вечное: дверь входная от ветра хлоп — вот!
опять! — и бежит ко мне — слесари! сварщики! —
сколько хлопот! —

вдруг — никого, комнаты, как пустые ящики —

долго думаю: жили, ели, переодевались
в пальто или в плащики —
куда подевались? —

поздний вечер, закончен сеанс —
я одна, раскладываю пасьянс —

окна в доме напротив — длинные молодые ноги
ходят по кухне, лежат на диване —
хоть и две, но обе две одиноки —
телевизор за шторой, мерцанье, мерцанье —
иногда каких-то гостей
тени — а то перекатывает клюшкой
мяч — других новостей
нет в окне — ноги — а раньше жила старушка
взбалмошная в кудряшках —
вечное сю-сю, пёсичек, любимая ряшка, ах! —

который день квартира эта темна —
я раскладываю пасьянс, одна —

долго думаю: жил, ходил
из спальни в гостиную — зачем они затевались,
те, кто белые потолки коптил —
и куда подевались?

она говорит

я вывожу кота в коммунальный
на этаже коридор
для впечатлений, а то он печальный
и все дремлет в спальне
с недавних пор.

помню, следит в блаженном покое —
за стеклом балкона щебет и спиц
золотых игра над рекою —
что это вообще такое?
что-то из жизни птиц.

еду с работы как-то —
окна, окна, и вдруг в одном
четверо играют в карты —
трое мужчин и женщина — как в дурном
сне — ярко, мертвенно, без азарта.

больше дней, которые снятся.
а наяву остается — будешь смеяться —
кот наплакал... он, кстати, стал
худеть, ему семнадцать,
в этом месяце резко сдал.

МОНОЛОГ СОСЕДА

осмелившись, немного обняли
друг друга... жалость?
любовь ли поздняя, подобие ли...
но сердце сжалось.

и вот... спустя неделю где-нибудь
легли — я помню только,
что ветер принялся осенний дуть...
и в комнате мы, два осколка...

в окне дрожание извинок
куста... и, лепеча, вдруг сбилась
в воспоминание она: «я сильно так
в него влюбилась...»

и в этом лепете невинности
сознание вспыхнуло в темне мое,
что нóшу прошлого не вынести
ни ей мою, ни мне ее.

ОПЯТЬ ОНИ

не издали, но как-то издали
увидел вечное и — дай воспеть их! —
предельно смертное, как бы земли
касающееся — в двух этих:
умалишенный сын лет сорока
(остановись, несносная строка)
и мать с предусмотрительной улыбкой
для тех, кого не узнаёт уже...

замрут — и мир замрет настороже —

ночной приласканные зыбкой,
они покачиваются, иногда
поглядывая в небеса над ними,
где в звездном дыме
их распылённая найдет приют беда.

МЫ

1

шевеленье на полáтях,
в люльках и во всех углах,
подростем и в тихих подлостях —
эх, родименькие, ах! —

располземся кто в буфетчики,
а кто в булочники, а
кто в официанты, с печечки
от родного очага

в город прыг да скок да прыг, а там
навещу в селе родню,
из селедочной головки, ам,
в рот похлебку наклоню,

ах ты господи ты господи,
эх, родименькие, ах,
поутру из бычьих глаз, поди,
кушанье, и кряк, и страх,

пьет сосед, а после стонет, жуть,
или в горести орет,
душно в доме, смрадно, кто-нибудь
кашлем давится и мрет,

а зачем на камне, сам реши,
светлое дитя стоит
и на церковь смотрит замерши,
не шевелится, как спит.

2

есть «счетовод» и есть «подрядчик»
или «сыскное»,
«извозчик» есть и есть «раздатчик»,
есть «в розницу» и «развесное»,
иди сюда, возьми фонарик
и посвети-ка
туда, где валит с дымных фабрик
народ безлико,
есть паспорт и печать — синюшный оттиск, —
есть, если полистать, прописка,
а то возьмешь в июле отпуск
и едешь далеко, где море близко,
еще попутчик пьющий: «бога нет, а?» —
бормочет, и в лице бескровность,
и мало света,
и жизнь продолжить блёклая готовность.

3

со стеариновыми в поле
выйдем свечами
и сядем, что ли,
на землю, и пожмем плечами.
как в раннее по жизни время
сошел я с круга,
так замер всеми
своими чувствами с испуга
и обомлел: вдали ходили
страшные люди —
посвистывали или
вдруг требовали правосудья.

они, казалось мне, излишни,
грубы и праздны,
нет, не всевышни,
нечисты на руку, развязны.
мой друг, почти неразличимы,
душой восплачем,
а там в ночи мы,
огни задув, себя попрячем.

Чернорабочий (композиция в четырех частях)

1. некто

Куда-нибудь устроиться-пристроиться.
Мохнатым насекомым бухгалтерия
о пятерых ногах вползает, роется
в мозгу, в бумагах, серенькая, серенько.
Копейки звезд тянущь к окну подсчитывать,
краюху неба-хлеба на ночь вырезать,
просеивай, — мне шепот в ухо, — сито ведь,
а что на дне, то тщись прилежно вылизать.
Я «тщись» сама и стиснут плоскогубцами,
гудят цеха, бросает в жар от доменных
печей, и кто я есть с моими куцыми
надеждами на чердаках соломенных.
Мне остается зубы заговаривать
неведомо кому, чтоб время вытрясти,
чтоб нечем было черный чай заваривать,
и закопать свой сон, и явью вырасти.

2. из кочегарки

когда я страну утеплял,
я жался к трубе отопленья
и этим тепла добавлял
пространствам людского скопленья,
как если бы кровь в этажи
вливалась моя, согревая
того, кто чертил чертежи
объектов грядущего рая,

как если бы кто-то белье
сушил на веревках устало
и в ванной старанье мое
для сушки тепло ему гнало,
как если бы в помощь двоим
два близко лежащих дыханья
я делал дыханьем одним
для большего счастья слиянья...
я дверь отворял, и в проём
влетал первородный, дикарский
немыслимой жизни объём,
добытый из штольни декабрьской.

3. смотрение

манометр. ночной манометр.
горит цифирь.
смотреть на паровой копёр часами
или грохочущий чигирь.
на паровозы в тупике.
депо кирпичное.
буксир, плывущий по реке,
невзрачное его величие.
смотреть на трубы вдоль стены,
по шву — окалина.
на многодымный тот сталелитейный
завод окраинный.
пить воздуха невидимые литры,
по первой никуда пороше
идти, пока пульсируют цилиндры
и ходят поршни.
смотреть на шахту — как она глотает
шахтера черным ртом,

в забое лошадь с ним слепая,
мертва трудом,
и надо, ничего дотла не чувствуя,
смотреть на вещи, в них
есть ясное твое отсутствие,
в котором — тих.

4. со смены

смену сдать, у чугунной
ждать ограды.
о, троллейбус двухструнный,
мое тело замерзшее радо.
я на задней площадке
встану в слякоть,
вот они, отпечатки —
лапоть левый и правый мой лапоть.
мост Елагин, до встречи.
по Морскому
ехать вечно и вечно
верным быть снегопаду косому.
стихотворной тетрадью
счет оплачен,
в жакте, военкомате —
где еще? — я учтен и утрачен.
я сойду и исчезну
в подворотне,
но прославив чудесну
жизнь, явившуюся сегодня.

там, где треплется слово «душа»,
теряя след,
шел, но опоздал, спеша
сквозь жизни свет,
и под землей буду землю рыть
туда, к тому,
с кем, моя радость, хочу говорить
сквозь смерти тьму.

до головокружения высокое,
великолепно небо синеокое
над монастырской кладкой тесной,
над гулким холодом, над камнем с плесенью,
где белые в два профиля гробницы,
и шепчется сама собой песнь песней,
где нет между усопшими границы,
где до конца времен лежать двоим,
явившись в неслиянности пред Ним,
где жизнь, жестокости веков обучена,
к секунде приурочена, счастливую,
как апельсин, вбирая, обуючена,
и просится в ладонь теплолюбивую,
где сквозь готическую розу — неба лужица,
и голова у голубя не кружится.

проход по авансцене

домой, домой! — к кому я обращаюсь? —
(ты слышишь? нет?) — еще я на виду,
но скоро ночь, поэтому прощаюсь,
пока иду, мне спать пора, иду —

в насущных тряпках нищий копошится,
и так тоскливо (ты со мной? аллѐ!),
как будто кто-то вывесил сушиться —
веревка из окна в окно — белье —

подумать только, слово есть: «разуться» —
в нем корня нет (ты здесь?), на склоне дня
(аллѐ!) я весь усну, чтоб не проснуться,
став зрением и жизнью без меня —

ДЕТСТВО

отец, он в кителе, мать в кринолине,
и сёстры, сёстры,
и сломанный цветок, и нет в помине
меня, есть ужас острый.

— ты лгал? дрожал от страха? честь дороже! —
и слёзы, слёзы, —
ты убиваешь, — мама говорит, — меня... о боже,
страшны ее угрозы.

и я пойму тогда быстрее, чем быстро,
давясь слезами,
что всякий шаг есть вид самоубийства,
и заменю себя стихами.

дождь стихнет утром, я окно открою —
там, наклонившись,
деревья с опрокинутой листвою
стоят, как спят, забывшись.

воспоминание в феврале

бухгалтер. в каждой комнате — часы.
они подобны счётам, счётам...
о, этот дом! я помню с детства «кто там?» —
и ночь, и бархатны ее басы.

и небо — россыпь звезд — как запись нот
на черной вазе, вдребезги разбитой,
и сердце бьется вверх, и даровита
околица светящихся темнот.

из года в год я навещал тот край,
тот дом, где в комнатах стихали —
одни вослед другим — часы. «не умирай!» —
просил я время, но секунды истекали...

пока не истекли... пока не обезлюдел дом.
бухгалтер, уронив главу на счета,
успел «тик-так» услышать, но потом
прислушиваться не было охоты.

бухгалтер. нарукавники. (приснить
на будущее!)... я вдыхаю воздух вдвое
сильней. не жить — вот горе! знаю, жить —
жить — тоже горе, но оно живое.

сегодня я стою в случайном феврале
и вижу улицу, и дом, и кобальт неба синий,
и зиму вдруг бросает в жар — светле,
светле истаивает иней.

нет, не мимо дворца —
по траве-земле
мимо озерца
в Царском Селе,

что-то сердце прожгло
и горит по пятам,
что-то произошло
там, там, там,

там сказалось мне
и ей одно —
то, что было вне-
временно.

говорю: «тебя не боюсь,
время, брысь,
обойдусь»,
озерцу говорю: «светись»,

отвечает: «свечусь», —
жизнь мою торопя...
если в смерти очнусь,
увидю тебя.

ты жив родством
(в нем нет ни сна, ни бденья)
с беспамятством,
блаженным до рожденья,

оно — проём,
который столь же ясен,
как ты в своем
отсутствии прекрасен,

и вот она,
суть с припасенным прахом:
не смерть страшна,
но униженье страхом.

P.P.S.

вдруг увидел себя подменной
драгоценного и утраченного, о ком
в виноватости сокровенной
тосковала она тайком,

и услышал гул затененный, ровный
ее прошлого, и потом —
как обрушивается их любовь, огромной
становясь, как обрушенный дом,

и услышал долгое затухание
пульса, пока стал себе незнаком,
потому что лучше пресечь дыхание,
чем спастись ползком.

наказ покинутому

по комнате пробегут лучи —
внезапный поезд в оконной мгле —
вздрагнет в ночи
платформа, точно припав к земле, —

земля ответит своим земляным
дыханьем с приправой сырой
травы и чем-то иным,
чей неведом покррой, —

он не знает, как ему быть
без нее? — невесть
как, но зачем он время хочет убить,
если только и есть

непостижимое, изнутри
изнуряющее, невидимое? — оно —
реальность, и это — слёзы утри —
все, что дано.

вдохни, ты непреклонно прав,
потому что путь твой тяжел
и платформа, припав
к земле, вздрогнула и поезд ушел.

сон

я прихожу домой
умёрших два меня встречают
не помню кто и мама
по комнатам мы друг за другом
я спрашиваю: а
где папа?
взгляд отводят и молчат
я спрашиваю: а
где папа?
взгляд отводят и молчат
потом мы бродим по двору
не помню кто и мама
я спрашиваю: а
и начинаю плакать

sunday in Rock Hill

ты видишь их, как на снимке со вспышкой, да?

воскресное утро, на даче воскресное утро.
мать рано встает, раньше всех, и на стол накрывает
с продуманным изыском: белая скатерть,
китайский поднос, на подносе для каждого чашка,
любимая тем, кому она предназначена,
расставлена бело-кобальтовая посуда
в особом ассиметричном, художественном порядке.
здесь нет мелочей. здесь всё в радость.

их будит воскресное утреннее солнце
и аромат бразильского кофе. поблескивают ложки и
вилки.
творог, и оладьи с яблоками, и горячие бутерброды,
и ягоды на бело-кобальтовом фоне сверкают
малиновыми, розовыми и фиолетовыми цветами.
терраса и зонт над столом, мать нашла
старинные кружева с любовными сценами на его прорехи.
все молоды, всем по вкусу любовные сцены.

ты видишь, как над зонтом и террасой
нависает роскошный тополь?
друзья, гостящие по выходным на даче,
однажды увешивают его купленными на распродажах —
мать любит «блошинные рынки» —
пластмассовыми румяными яблоками, и дядя Игорь
столбенеет, приехав: «Что это?!» — «Привили тем летом
к тополю, — отец отвечает невозмутимо, — бельфлёр-
китайку».

потом «прививают» к нему апельсины, персики, груши...
дождь краску когда-то смоем
с «бельфлёр-китайки», и папа пошутит, что яблоки стали
белым наливом... когда-то «уйдет с молотка» эта дача,
и новые люди (не люди — жильцы) гортензию вырубят,
и мать оплачет эти кусты как оплакивают человека.
но это не скоро... воскресное утро.
день длится. жизнь кажется долгой, кажется долгой.

по коням, по коням! садятся в машины и едут.
мать белую скатерть берёт, шампанское, фрукты.
снуют по городкам — антикварные лавки, фермы,
как в калейдоскопе: дороги в горах, озёра,
как будто висящие на горах, изумрудные травы
полей, аккуратные домики, ни одного забора —
нехитрое понимания красоты и уюта — наружу,
обжитая, но и нетронутая природа.

а то — аккуратная церковь в наивном колониальном
стиле, олень на обочине, как статуэтка,
а то ряды ярко-красных комбайнов — они
являют собой воплощение беспорядка,
а то разрушающийся — но грациозно! — дом
американского плюшкина, чуть на отшибе,
там бегают дети, индюшки, пасется корова,
а то затевается где-нибудь на поляне пикник.

в один из воскресных дней, на распродаже
возле невзрачного домика, мать видит
лежащую на земле фотографию между
предметами уныло-безвкусного быта, среди
ржавых напильников, ангелов, розочек —
большую свадебную фотографию:
девушка улыбающаяся, с открытым лицом,
атласное платье, муфта, вниз от нее —

лента с бантиками, все незатейливое, домашнего
наверняка пошива, как и фата, самодельная тоже.
фикус и гладиолусы на заднем плане.
бедная праздничность свадьбы. с девушкой рядом
жених в американской военной форме 40-х.
всё так близко, что явственна пыль на листьях
фикуса — мать не отрывает взгляда — что с ними случилось?
фотография стоит доллар.

мать держит ее, рассматривает детали.
их улыбки, их радость валяются на траве,
никому не нужные, потускневшие, стоят доллар.
она фотографию покупает, ей кажется,
она делает что-то важное для этих людей,
весь обратный путь она держит их на коленях,
она не хочет знать, что он погиб или они развелись,
она хочет сохранить их день в его счастье.

день длится, но жизнь не кажется долгой, нет?

На прощание

Есть скрытый страх,
что не сумел сказать,
как сыпучий снег
падает в сад,
как древесная вязь,
как в каплях окно,
как врозь
не бывает... Но

есть открытая боль,
в ней нет стихов,
есть небесная даль —
в ней нет домов,
не растут цветы,
не прядется нить
жизни... — и ты
перестаешь говорить.

ХАРЬКОВСКАЯ ТРИЛОГИЯ

Посвящается Ире Черняховской

1. сараи

мне поручили охранять сарай...

Ю. К.

тяжелые дубовые ворота —
их открывают только в дни, когда
хоронят — (мебель не вывозят
и не привозят — покупают раз
и навсегда) — дубовая калитка
добротная — и двор — дома квадратом —
и — поперек — дощатые сараи,
гордящиеся ладностью дверей —
там пролетают два дошкольных года —
сочащееся солнце из щелей —
лучи с мерцающей в них пылью —

еще — что ни секунда — я рождаюсь —
и нет страданий или поводка
поэзии живописать страданья
(беду не приближая к сердцу,
а то и вовсе равнодушно их
писать) — и дышится легко,
и таинство вершится детства —

сарай! — кажется, что свет внутри —
из читанных мне на ночь сказок —
то крошка Цахес, то Мышиный
король семиголовый по углам

мерещатся — и дрожь внутри,
похожая на имя Дроссельмейер —

скажи мне кто-нибудь в ту пору,
что жизнь конечна — ничего
не только бы не понял — не услышал —

в том Харькове у тетушки моей
и дядюшки висит в сарае шкаф
с инвентарем — о скука! — плоскогубцы,
напильник... — рядом детская коляска —
кто упорхнул отсюда? — и всегда
одна калоша под велосипедом —

нет, я люблю соседские сараи! —
у дяди Коли фотоаппараты,
штативы, ванночки, футляры, линзы,
колесики — фотограф-летописец
картошку жареную с простоквашей
ест и зовет меня, и угощает —
а тетя Шура на веранде тесто
раскатывает — вот, смотри, как надо
раскатывать и как лепить края
вареников! — и я смотрю, смотрю —

смотрю — как все по-разному живут —

в сарае тети Лиды по-другому —
она с Ивановной свой делит дом
и свой сарай —

Ивановна прислуживает в храме —
квартира аскетична и чиста —
кровать, застеленная насмерть —
подушки белоснежной горкой —
и белоснежна вышивка на них —
на Троицу пахучая трава
разбросана по полу — в церкви свечи
раскладывает, натирает
подсвечники — а иногда
берёт меня с собой — в квартире
на стенах забелённые следы
от пуль — в войну какой-то немец
пугал и заставлял ее
пить молоко, когда она постилась —
Ивановна же говорила: «Ні» —
и он отстал —

в сарае у нее горшки
для куличей, тазы... — все безупречно,
стерильно, прибрано, все — благодать —

на половине тети Лиды — стопки
мешков, какие-то веревки, барахло
с завода — «быть» убито в слово «быт» —
безмужняя, она родит Олесю —
(а тетюшка и дядюшка мои
ей детскую коляску отдадут) —
та подрастет, и тетя Лида ей
с завода парашютный шелк притащит
и платье ей сошьет — и та, кружась,

легчайшая, почти взлетит —
и будет у обеих счастье —

но это позже, без меня —

еще не всё — напротив — через двор —
Марья Петровна с дочерью — в их доме —
громоздкие торжественные лампы
и бархатом обита мебель —

их нет на фотоснимках дяди Коли —
на задохнувшихся, белёсых, стертых,
хранящих отраженье тех,
кого ничто уже не отражает —

они за общий не садятся стол,
который накрывают во дворе
по праздникам — горды и неприступны,
гостей не принимают, и меня
не угощают никогда — но странно! —

их, сломанною мебелью набитый,
торшерами и сундуками,
я так люблю их чертовый сарай —
кресло-качалка — я сажусь и ставлю ноги
на мягкую скамеечку под ним —
она материей обшита, вата
торчит из дыр — я втискиваю вату внутрь —

мне хочется там говорить — как странно! —

и я впервые говорю — да, там
я сам с собою говорю впервые —

и вот последний на сегодня дом —
он тоже надвое поделен —
мать, дочь и дочери
немолодая дочь — все сведено
к тому, чтоб младшенькую выдать замуж —

сарай их пуст — заржавленные ведра —
и это все —

другая половина — тетя Поля
и сын ее — с застенчивой улыбкой
нежнейший Павлик — он слегка косит —
он математик — почему-то их —
(я в том числе) — жалеют все — и эта —
моя — опять впервые! — жалость —

сарай их... — я не помню в нем вещей —
но помню: ни к чему
не прикасаюсь — там нельзя нарушить
безукоризненный порядок — там я тих —
сарай, где даже паутины нет —
высокий есть порог — на нем сажу
и вижу вертикальный свет... —

когда я о повешенных читал
Андреева — лет через семь — на даче
в Лисьем Носу — (не ведая, что тех,
с кого лепились образы, казнили
именно там) — увидел из окна
калошу в луже и обрывок
веревки... бельевой вполне... —

то был дождливый день, зато назавтра
светило солнце, как светило там,
где грудятся дощатые сараи,
дома квадратом и куда ни глянь —
куда ни глянь — натянуты веревки —
и на ветру полощется белье,
как флаги бесконечной жизни —

2. пир

пирушки наши завещанья...

Б. П.

узенький, тенистый
Дбсвідний переулок —

с пульсирующей школой,
громоздкой и ему несоразмерной, —
крик детей,
звонóк, смех, гомон, смех, и всё —

всё замирает и пустеет
с началом лета —
по обе стóроны парадного крыльца
ступени — мрамор — окна широки́
и высоки́ —

всё замедляется, и умирает пульс —
и школа в мертвенном стоит величье —
вдруг-тишина — и наступает

пора цветов —

пионы вроде морд бишбнов,
надушенных в цирюльне, —

промотавшиеся графья
с тонкими горлышками —
трубчатый табак, —

конусы лиловые
резной сирени, —

распашные
лодки листьев акации —

и оркестр граммофончиков,
облепивших террасу,
синих с тонущими в растрёбе
белёсыми подпалинами, —

мальчик лет шести —
неведомый себе посредник
между богами и людьми —
он в переулке —

узенький, тенистый
Дóсвідний переулок —

войти во двор и замереть у клумбы —
он соглядатай, но когда-нибудь —
истолкователь бáрхатцев и астр —

в зеленый аромат
лип, кленов, тополей
вплетается съедобный запах —

(и первой жизни остриё —
трав и земли вдыхание твое —
вонзается, как быстрое копьё) —

открыты окна — окна нараспашку —
«я, Верочка, возьму
соленых помидорчиков, приехал
Павлушечка» —

ласкательные ечк, и чик, и очк —
не в долг берут, задаром — здесь царят
радушие и щедрость —

здесь на заднем
дворе у каждого семь грядок —

а рынок Благовещенский! — ряды,
ряды, ряды — клубника, вишня,
антоновские яблоки и хруст —
такого хруста нет на белом свете —

еще творог —
мягчайший, влажный —
лежит куском —
он под ножом подвижный —

густейшая сметана в ведрах,
прикрытых марлей, масло всех оттенков —
от темно-желтого до светлого —
и молоко — с коричневой корочкой —
топленое — и продавцы —
их нарукавники, передники — и смачно
и сочно! —

если во вторую жизнь
вернусь слепцом, я вход в нее
на нюх найду, на ощупь
по головам клубники —

погреб — мальчик, где ты? — погреб —
кирпичный пол и тусклый свет —
и бочки, бочки —
капуста, помидоры, огурцы —
всё крышкой — (не впритирку к бочке) —
прикрыто — сверху камень — и рассол

пьянящий — с травами, и чесноком,
и листьями смородины —

спускаешься и миской
зачерпываешь с хлюпом
соленья —

вот тетя Вера (тетушка моя)
из теста нарезает тонкие
полоски и кладет на холст сушить —

«ты шевели лапшу» — я шевелю,
чтобы она не пересохла, —

а маковый пирог —
перетиранье
в макитре мака —
так долго тянется, как если б зерна
перетирались времени — и тетушка поет —

(она курила «Беломор» — я слышу
чуть с хрипотцою низкий голос) —

опара — тетушка не раз
встает ее «подбить» — ночное
священнодействие — наутро — тесто —
вот снято полотенце —

так пахнет счастье —
так ноздрётся,
приправлено изюмом и цукатом, —

несут — кто фаршированные перцы,
кто синенькие,
кто огромную бутылъ
с густой темно-вишневою наливкой —

сдвигаются столы —
последней тетя Шура —
сию секунду снятую с огня —
несет картошку —

мой дядя Женя говорит: «к достойным
на пир идет без приглашенья
достойный», —

а чуть позже он поет
о перелетных птицах — в жарки страны
они летят — о том, что остаюсь
с тобой, родная сторона, — о том,
что ни чужое солнце, ни земля
чужая не нужны, —

и сердце бьется
сильней у тети Веры, — и от песни
такие слезы катятся, каких
я больше никогда не видел, —
день
освобожденья Харькова —
день двадцать третий —
август —

3. Сумская

Я посетил тебя, пленительная сень...

Евг. Баратынский

я иду каштановой аллеей —

и цветут высокими свечами
кроны, источая запах спермы по ночам, и
он проложен клеверным — то розовеё, то блее —
запахом, — и каждая скамейка
помнит стоны... —

я иду каштановой аллеей —

и тележка с газированной водой —
и стеклянных два цилиндра — в них сироп — и мойка
для стакана — с быстрым брызгом изнутри —

поднесешь стакан ко рту —
лицо все в капельках, — и крик: «эй, молодой,
дай копеечку!» —

с каштанов осенью — смотри! —
падают с прищелком каблучковым
лаковые ядра-кулачки —

притяжение памяти, ее прирост,
искривит пространство так, что я иду
здесь, в сию секунду перекинув Млечный мост
из секунды в шестьдесят шестом году, —

не аллея — храм — вечёр и днесь —
шахматисты под широкополой шляпой тени
в дырах света — мреющая над мозгами взвесь

хищных замыслов или смятений, —
а в дебюте глаз их переблески —
Фёрзевый гамбит? — нет, Королевский! —

на Брехаловке футбольные болельщики —
то ли плещутся подлещики-подельщики, —
то ли колыхаются, как водоросли —
я иду на запах ли, на голос ли —

патлы мальчиков и девочкины плечики —

друг мой физик — кличка Шарлатан —
мямлит (он влюблен!): «тоскую...» —

мать его — красавица — дородный стан —
Лиля входит в комнату — в ней уйма удали! —
«тю! — смеется, — мигом на Сумскую!
я дивчиною кохалася без устали,
а теперь мне кажется, что мало!» —

я тебя, простую,
пышногрудая красавица, рисую! —

божество любви свой путь торит —
наэлектризованная жизнь искрит,
как пантографы троллейбуса, — летит герла в обновке
через город на Стекланную Струю —

«вы встаете, — говорит, — на остановке? —
да, встаю» —

белые ажурные колготки, мини-
юбка — (чуть за дверь — переоделась,
чтоб не видел папенька) — балетки — боже, этих линий —
омывает сердце кровь — сквозная прелесть! —

нет, не очи жгучие и страстные,
нет, послушайте —

Лёша Пугачев с подхрипом: «красные —
помидоры — (под гитару) — кушайте
без меня...» — поет стихи окраинного
счетовода из депо трамвайного, —

то у «памятникшевченко» встречи,
в «Автомате-Пулемете» пирожки слоеные —
крошки сыпятся, — то кофе с коньяком и речи,
речи, речи, рифмой окрыленные, —

то фланируют — кто по Бродвею (правая
сторона Сумской), кто по Гуляй-
Штрассе (левая) — уже грохочет слава
Кривошея — он — сверхпроводимый, через край
плещущий — великий химик, комик —
Мотрич, Димс, Чурилов, Кадя —
хаос динамический — под мышкой томик —
он стихи читает в «Затишке», в застольном чаде, —

то вокзал — вокал бесчисленных окон, —
кто не знает пересадок
в Харькове? — прищурюсь — как далек он! —
весь — платформа с головы до пяток —

как изысканно живет в тебе отвесная
тихая тревога предотъездная... —

то срываются куда глаза глядят капризники —
то являются живые призраки —

буги-вуги, узенькие брючки, вот я — зримый,
фиолетовый, с замороженных дрожек,
я не серый, я неповторимый,
я хочу быть лошадю, я Мрожек —

то несется Голубая Лошадь по Сумской —
эхо из пятидесятых — Господи, их душу упокой! —

газировка — я иду каштановой — вечер и днесь —
пять копеек и двойной сироп «дюшес»
цвета солнца, вкуса груши, — Шарлатан,
постоим, переминаясь,
подождем, пока ополоснут стакан.

БРАТИШКИ И СЕСТРЕНКИ

Нищий

Фасады, забранные в сетки
пожарных лестниц,
и птичьи в небесах заметки —
блистанья лезвийц,

там замирает взгляд-скиталец,
в полях смиренья, —
так интенсивен этот танец
исчезновенья!

Все это ты, счастливец улиц,
ее полениц
и щепок солнца, мой безумец
и отщепенец... —

вот он стоит возле киоска
и смотрит немо
на белый труд каменотеса,
на мрамор неба,

на облако, его прожилки,
на то, чем станем... —
и вновь идет, собрав пожитки,
спокойно-странен.

В ресторане

Подлей винца, подлей,
цыганничай, скрипач.
Нет ничего подлей,
чем задушевный плач.

Сердечную дыру
в три всхлипа залатай
и на плохом пиру
смерть брата заболтай.

За нею по пятам
я шел, пока с пути
не сбился ровно там,
где в землю бы врасти.

Энкиду, кто родней
тебя, мой брат, постой,
я разминулся с ней,
как пьяный мозг с собой.

Разгадку ль торопя,
брат стал внезапно нем
и так ушел в себя,
что перестал совсем.

Цыганничай же, князь
расслабленной души,
и скорбь музычкой скрась,
и памяти лиши.

Актриска

бабочка, ночная сплетница,
постаревшая впотьмах,
к телефонной трубке лепится,
«ох!» (закуривает), «ах!»,

а была когда-то куколкой,
вся умытая росой,
за кулисами шушукалкой,
сцены нежною пыльцой,

а еще она лимонницей
летом солнечным была,
легкой ласковой любовницей,
нэктар в чашечках пила,

то летит, а то разленится —
и замрет, то вновь летит,
лгунья, бабочка-изменница,
свет юпитера ей льстит,

точно ножнички кроющие,
воздух режет в два крыла,
никогда не настоящая,
жить вовек не начала,

то в печальное нарядится,
то в беспечном гомонит,
ветхокрылая развратница,
реквизит ее манит,

вся чужой бедою светится,
трепыхается на ней,
бабочка, ночная сплетница,
тлеющий театр теней.

Ответ проезжего

Напои, кудахчет нищенка, накорми,
дай деньгами или едой.

Но и мы устали, нищенка, но и мы
если сыты — своей бедой.

И с чего бы это, нищенка, мне в карман
лезть, когда там дырым дыра,
в лучшем случае, Библия или Коран, —
ни кола, то есть, ни двора.

Ты гляди, какая в мире тишь да печаль,
как дворняга взглядом в ночи
дали слизывает, несущиеся в даль,
вот и ты давай, — и молчи.

Не могу молчать, заходится, дом сожгли,
а в дому — детей, а сама
потеряла разум. Но ведь и мы сошли —
и сума порвалась — с ума.

И сказать по правде, дерево ли, снега,
их спокойная чистота, —
с проживающим — разминовенье, пока
он не стерт, как клякса, с листа.

Потому не плачься, нищенка, и не тронь
струны жалкого естества,
а сложи ладони лодочкой и огонь
раздувай себе Рождества.

Жил среди выжженных
спиртным и в спирте закаленных,
среди униженных
и оскорбленных,
среди испившихся, испевшихся,
заискивающих и жамких,
к преступной власти притерпевшихся,
позорных, жалких, —
и так уютны были тление,
и желчь, и скорбь самопознания,
что длилось, длилось преступление
без наказания,
в насквозь продутой ветром местности,
среди постылых
мирян, и хуже всякой мерзости —
что я любил их,
глядящий на неспешно тающий
снежок и птиц безмолвных стаю
и с отвращением читающий
то, что читаю.

Александр

Друг-слесарь Александр, возропцем,
но и немедля пыл остудим!
Пока не стали совершенным общим,
на барахолке частностей побудем,

на ржавом поприще с гвоздями
и фиолетовую стружкой,
в цеху, пока не полегли костями,
или вжелтятся в мороз пивную кружкой.

(Постой, воспоминанье встрою:
помощник банщика, собираю
бутылки с изумрудною искрою.
Ад ленинградских зим, подобный раю.

Чуть приоткрой окно — и взрывом
пар с чернотой, позлащенной
фонарным светом над Кузнечным рынком.
Безденежье и пьянство, скот ученый.)

Не ты ли в плащике с кошелкой
идешь вдоль мусорного бака —
портрет в пейзаже со щербатой елкой —
под куполом с наколкой Зодиака?

Несешь домой железо, слесарь,
не пригодится ли в хозяйстве,
тяжеловесная рука в порезах,
и гаек на столе стальное яство.

Друг-слесарь Александр, ты крепость
воздвиг внутри своей квартиры
и в ней исчез, чтоб я воспел дискретность
и излученье жизненной картины.

Композитор

Застойных лет застольный человек
гладь лакомую луковицы режет,
а та хрустит, и сладко-горький снег
кружками увлажнительными брезжит.

Вот узковатый уксус, вот язвит
сердечных угрызений горький перец,
вот с луковицы срезан белый винт,
и гость мой говорит: «Единоверец,

за неизведанные рубежи!» —
Глоток — и вилки проблеснули зубья.
О, прихожанин прямодушной лжи
и пошлости нетленной жизнелюбья,

полночный гость, проточной водки друг,
твой с хрипотцою баритон, пропойца,
со специей акцента, — пряный звук,
но образцово-праздничных пропорций.

Непреходящий бархат ледяной
бутыли, наклоняющейся к рюмке, —
и вот ковчег поплыл, и новый Ной
плывет в оконной проруби округи.

Так был манящ непризрачный приют,
где жарких жен пылали восхищенья,
что симфонический сизифов труд
твой не изведал веса воплощенья.

Сиди разгоряченный за столом,
желудок мира, пей, вовек не рухни,
да нет, не так, немного под углом,
на улице Чайковского, на кухне.

В переходе

Голоден я, дай еды мне,
вредной, дымной,
подгоревшей, сытной,
побирушечной, постыдной.
Вот она, моя привальная.
Скорбно ль, братец, на душе,
слёз не проливай, проваливай...
Да проваливай уже!
А что сердце мое горе съело,
не твое собачье дело.

День

Увидел на полу медяк.
Впотьмах, обидой
раздавлен, рухнул на тюфяк.
Спал как убитый.
Сосед ли утром, выходя,
ключами звякнул,
но пробудился к жизни я.
Я ей поддакнул.
День ни о чем и ни о ком
с небес нагрянул,
сверкнул на солнце медяком
и в подпол канул.

Крем-брюле

ой-люли крем-брюле ай-люли
ой слюна ай эрдель ай терьер
ой мороженое слижи
с пальца кормит собачку толян
сын толяна вспылит не валяй
дурака мой эрдель а не твой
ему вредно лизать крем-брюле
ай-люли крем-брюле ай-люли

ай в мороженице ля-ля-ля
ай сынóвья жена ля-ля-ля
наш эрдель а не ваш крем-брюле
с пальца в пасть не сувайте ему
а толян накалился как сталь
проливная как доменная печь
он ли сына не вскармливал блюл
он ли волю ослабит свою

не ослабит толян волевой
воль своих не ослабит толян
плюнет скажет плевать я хотел
тлен слова твои шваль ты не сын
ай-люли шваль тебе пел не я ль
в колыбель умилялся не я ль
я ль эрделю лизнуть крем-брюле
позволения должен молить

вышел вон в опаленную ночь
из желтка гоголь-моголь кафе
что-то щелкнуло в дивном ларце

головы у толяна плевать
дрожки взял запахнулся в шинель
будьте прокляты крикнул и боль
вдоль раскатом прошла громовым
ой-люли крем-брюле ай-люли

меджи меджи любимый эрдель
никогда не вернется толян
ни к жене что молчала как тля
ни к сынку ни к проклятой его
цапле выйдет в испании он
скажет всем *hola, soy tu rey*
я испанский король ля-ля-ля
ай-люли крем-брюле ай-люли

Смерть Кочеткова

Цвет неба, как песок,
смотри в закат, кто хочет,
что из виска в висок
мне метроном грохочет,
когда превысит боль
все, что превысить может,
налей мне алкоголь,
мой день дожат и дожит,
он без сознания
и мертвой ниткой вышит,
и не смотри, что я,
как пес, дрожит и дышит,
все мимо по усам
и градусом не тешит,
и я не знает сам,
что так дурит и держит,
не зря, не зря, кипя,
чтоб не было в помине,
мозг, выпарив себя,
пас пустоту в пустыне,
когда сверкает боль
и мертвой хваткой мочит,
дай, Алка, алкоголь,
кончается твой кочет,
впивайся, астроном,
в распыл небесных таин,
я труп, как метроном,
который в лед запаян.

О безвинной грешнице

От тяжелой ноши
спаси, избавь,
чтоб не стала горше
горького эта явь,
ведь безумие не ее вина,
ведь она
до того одна, до того одна,
что Тебе видна.

Спаси ее,
вразуми, спаси
несчастную, некрасивую,
или душу мою погаси,
чтобы не было для проклятья
места, Господи,
взгляни с распятья,
пощади.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Библиотекарь¹

Говорит мне: «Аккуратно ставь
книги, корешок к корешку». Слушаюсь.
Вот стоят мои преображенцы² рядами,
плечом к плечу.
Молчу среди собраний ума.
Слышишь, как один оплакал в стихах Гераклита?
Смерть, пусть горечью, но оживляет речь.
Со второго раза только и входят в реку.

Славь таблицы тех, кто просиял в познаниях³.

Я прикасаюсь к ним — и читаю на ощупь,
как слепой Хёрхе Луїс,
ведь и меня дивило, что буквы в закрытой книге
не перепутываются и не теряются за ночь.
Но теперь, выучив наизусть их,
я на левую сторону надеваю память
и ношу забвеньё.
Только там, где нет книжной пыли, buenos aires.

Смотрит рабби Лёв на гóлема, Бог — на рабби.

Вслед за истуканом рабби рассыпается в прах.
Что с того? Всякий день по книге

¹ В стихотворении явно или завуалированно присутствуют великие библиотекари: Каллимах, Борхес, Казанова, Лейбниц и Бог.

² Казармы Первого батальона лейб-гвардии Преображенского полка располагались на Миллионной возле Зимней канавки.

³ Строка «Славь таблицы...» — из Каллимаха.

я таскаю в дом, где б он ни был, вроде
муравья с невидимым свитком.

В Праге, возле синагоги, родившей голема,
Командор поет в моцартовской премьере,
а Дон Жуану вторит в бархатной ложе
книголюб Казанова.

Хоть бы мир и распался, страха в сердце не знаю¹.

Мор мертвит города, пожары их пожирают —
вновь надстраиваю этажи,
населая их книгами.
На костях и пепле, да, на костях и пепле.
Чтобы котиком, сбежавшим в строфе Хбрхе²
от глиняного болвана, мурлыкать в кресле.
В книге нет ничего, чего не было б в мире,
кроме самой книги.

Вся на свете музыка в молчании этих клавиш.

Ближе к ночи я совершаю прощальный смотр,
проходя мимо казарм лейб-гвардии
Своего полка, несущего караульную службу.
А потом во сне, себя потеряв бесследно,

¹ Строка «Хоть бы мир и распался...» — из «Дон Жуана». Премьера состоялась в Праге в 1787 году. Записи Казановы свидетельствуют о том, что, возможно, он давал автору либретто этой оперы Да Понте советы. Оттого он и сидит в бархатной ложе на премьере.

² Строфа из стихотворения Борхеса «Голем»:
«И так был груб и дик обличьем Голем,
Что кот раввина юркнул в безопасный
Укром. (О том коте не пишет Шолем,
Но я его сквозь годы вижу ясно.)»

отрываясь от Зимней канавки,
над Невой Он взлетает и — дальше, дальше —
над библиотеками кладбищ,
над обложками плит надгробных.

Тебе жить, пока не истлеет последняя книга.

Два стихотворения

1. Акакий

Что-то темно в доме как-то
стало,
розово-талый ската
крыши розово-талый
свет протекает в комнату, но немного мало.

И, того-этого, грустно
в доме.
Кроме теплой капусты
запаха с клетки, кроме
скрип-половицы света, нет ничего в объеме.

Я придвину тетрадь близко,
перья.
Мыши за дверью низкий
шорох, того, за дверью.
Как мне, право, ответит слово-то на доверье?

Каким повернется богом,
чтобы
не было злобы, боком
втиснутой в строку злобы,
а клонился бы над стихами свет белолобый.

2. Брат

Среди бела дня, сворачивая
за угол, теряя след

собственный, точней — утрачивая
замысел, сходя на нет,
что-то мелкое затверживая,
семена, — зачем? к кому? —
как он зиждется, выдерживая
предстоящее ему?
Может быть, он за шинелишкою,
в ужасе от новых трат?
Жалью вслед тебе жалеюшкою
отзовется сердце, брат.
Кто над ним острится, подличая,
сыплет на голову снег
из бумажек, сытно полдничая?
Есть ли это человек?
Мимо, мимо, вот кондитерская,
вот питейная, а там
потухает небо питерское,
чуть принять — и по домам.
Серость питерская уличная,
как ее перебежать,
чтобы ночь, великодушничая,
приняла его, как мать?
Что дитя, в бок рóдный плачущее,
скрыв лицо от чуждых глаз,
на мгновение, нас прячущее,
примирающее нас,
он совсем не богоборческое
слово молвит, точно мне
шепчет что-то стихотворческое,
улыбаясь в полусне.

Антиклея — Улиссу

Ни иссушающий лиловый зной,
ни гибельный пожар лесной,
всю живность из страны угнавший,
ни эпидемий падаль, вонь и гной,
ни зимний ветер с моря ледяной,
пронесшийся над кровлей нашей,

ни мерзости, творящиеся там,
где не насытитесь поганим ртам
властителей кровавой пищей,
где, уподобившиеся скотам,
их воины шныряют по кустам
со шлюхами и пьют на пепелище,

ни скорбь беспомощная, ни мой гнев,
когда толпа хвалою нараспев
насилие обожествляет
(так бойню воспевал бы хлев)
и вдруг, в однообразье озверев,
срывается с цепи и, скалясь, лает, —

ничто, мой сын, не отняло меня
от воздуха, земли, воды, огня —
зной не спалил и стужа не сковала,
и если нынче смерть — моя родня,
то потому, что не было ни дня,
чтоб по тебе душа не тосковала.

Улисс в подземном царстве

— Как несносен
ветра вой... Слышишь эту скорбную осень?

— Осень, знаю.
Но не слышу, не вижу, не осязаю.

Я всего лишь
сон твой, сын, ты себя-меня им неволишь.

— Трижды душу
я хотел обнять твою. Разве я трушу?

Трижды руки
я тянул к тебе. Сокрушительней муки

нет на свете,
чем твоя недоступность и тени эти.

— Нет у мертвых
ничего, что есть у людей, плотью гордых.

Нет ни силы
той, которой состав твой скрепляют жилы,

ни души нет.
Я твой сон. Ты оплачь его. Пусть он сгинет.

А покуда
не усвоить тебе загробного чуда,

подвиг ратный
жизни, сын мой, зовет тебя в путь обратный.

Элегия. Встреча

Из Тюбингена шел в Афины.

В аллее лип богиня промелькнула —
и я решился.

Взял чашу чувств и тронулся свободно
в путь, господа.

Пел Аполлон и слух пленял, и солнце
светило пламенно, и речь ручья сверкала.

Сбегали города с холмов в долины.
День оплодотворял и пресыщал
трудом людей, но и сулил им отдых.

Пустел базар.
В прохладе вечера звучала арфа.

Я шел, и видел сам себя с небес.
Я все вместил, но щедрость сил верховных
была равна — пробив меня насквозь —
их равнодушию. Нет, господа! —

НЕБЫТИЮ.

И вот уже ни облачка, ни пламени
костра вдали. Ужели я в раю?
Летели облакамни
по небу. Или по не-бо-ти-ю.

Тогда в закате мир померк безмерный.

Я заблудился. Чаша чувств моих
разбилась.

Стало облачно и холодно.

Болото с белыми глазами. Вологда.

И вот уж слышу голос старика: «Кто влип
в мою аллею лип?» —

«Я Гёльдерлинден¹.

Я Гёльдерлинден. Я моя судьба». —

«А я как раз Судьбатюшков. Пойдемте,
я познакомлю вас с Идиотимой».

¹ Linden (нем.) — липа.

Элегия. Зеркало сцены

Предложили роль. Я согласился.
Дни и ночи той поры бесценны.
Я в их труппе был кассиром, но косился
в сторону юпитеров и сцены,
на которой и заколосился.

Нет, не мигом. В роль вживаются не с ходу.
Но когда в твою звезду
Мастер верит, ты растешь ему в угоду,
всей душой шепча: «Расту, расту».

Как любил я запах костюмерной,
бархат занавеса, доски декораций,
бутафорию — весь этот мертвый
мир, способный воскресать и разгораться,
подчинясь актерской вере вёрткой.

Вёрткость веры! Штукарям игры,
братству странников одинокровен,
я любил вечерние пиры —
захолустные заезжие дворы —
все вокруг Мастера, с ним заодно и вровень.

Да! Но кто меня проникновенней
слышал то, чему учил он днем и ночью?

«До костей прознай себя, до тех мгновений,
что неуловимы, точно тени,
до любви врожденной, непорочной —

в существе твоём нет места многоточью! —
и отдай все образу, и в нём исчезни».

Да? Но как из образа я выйду,
если полностью исчезну в новой жизни?
Он учил, чему не учат: чуду.
Я отрекся.

Но не подал виду.

.....

Слишком роль свою ценю я
и особенно, когда целую
главного героя, и за мной толпятся
воины-легионеры с копьями, и злую
я вершу судьбу свою чужую

в ночь на пятницу.

Элегия. Поэт-романтик

«Пусть ею не любим, зато не стать
(я эту книгу пролистать,
замечу в скобках,
успел и — дальше заглянуть)
разлюбленным когда-нибудь.
Я в мыслях робких

способен *грезить* лишь о том, что есть.
Я жизнь люблю — она благая весть
не потому ли, что расстаться
с собой позволит мне достойно?
Когда я бодрствую, мне снятся
сны. Так легко, покойно,
нет, поразительно, мой друг...»

И тут же, вдруг —

раскинув руки, он лежит в снегу.
И снег лежит.
Ни тот, ни этот ни гу-гу.
Умёршего смерть не страшит,
и он не грезит: эту даль бы
увидеть вновь... Его отпели Альпы.

Он письменная принадлежность, почерк,
тринадцать строчек.
Вдох-воздух где? Где выдох-пар?
Всем светом мысль впивается во тьму:
нет ни дарящего, ни той, кому.
Есть только дар.

Из Луцилия

В том добродетель, Альбин, чтобы истинной мерой отмерить
всем по заслугам людям, с которыми жить нам придется.

Две восьмилетних девочки, две ученицы
играют в комнате, на лицах блики солнца.

На ликах блицы солнца.

Одна веснушчатая.

(Опилками усыпана арена,
я помню, пахнет дальним зверем.)

Другая — вся фарфоровая балеринка.

(Сквозняк, колышутся портьеры, как кулисы,
я помню дрожь ее и хрупкое волнение детства.)

В чертах одной есть то и дело строгость
сороколетней женщины, упрямой
и несчастливой.

Другая, а точнее ее природа,
так не заглядывает далеко, лопочет и лучится.

И вдруг веснушчатая в грудь ее толкает —
и балеринка падает и замолкает на осколки.

Тогда в испуге злюка

давай рыдать и причитать сквозь слезы:
«Разве могу терпеть? Разве могу терпеть я?»

И тут мне вспомнилось, как разъярился Скотий,
когда убит был конкурент Красавций,
как в страхе он кричал, как Блядия его голубила
и шепелявила поглаживая плешь ублюдка.

Читая о Сэлинджере

1. Хюртгенвальд¹

Фосфор падает белый.
Вспыхивает. Забыть
запах плоти горелой?
Легче себя убить.
Нечем Бирнамскому крыть
на оледенелой.

Хладная мгла. Темно.
Дантову нечем крыть.
Гиблое? Вот оно:
оледенелую рыть.
Немца ли, своего убить —
мне все равно.

Рою окопы.
Слабоумного смех.
Окоченевшие тропы.
Рейн вдали или Рейх?
Что строчишь, пустобрёх?
Это не тропы — трупы.

Унтер из Гамельна
капсюльную берёт свирель,

¹ Речь идет о тяжелейшем для американской армии сражении за лес Хюртген зимой 1944 года. В стихотворении упоминаются Бирнамский лес («Макбет»), лес Данте («...я очутился в сумрачном лесу»), а также гётевский из «Лесного царя».

и оттуда не до, ми, ля,
а шрапнель.
А-а-ахен! — падает ель
ухом к тебе, земля.

Он ни брат, ни сват,
ни аэд, ни скальд —
зазывает в зеленый ад,
в Хюртгенвальд.
А-а-ахен! — пойдет на базальт
кость твоя, солдат.

Вот истлевшая шкура.
Ног ли останки, рук...
Эта литература —
литератураур, друг.
Все полегли, каюк.
А уцелел — значит, сдуру.

Кто под хладною мглой
мчится, и с ним
сын еще молодой,
кем он гоним,
что случится с родным
под сигнальной звездой?

2. Кауферинг

Штабель тел,
переложенных дровами.
Трое-четверо еще моргают.

Французский роман

Бывает в юности после болезни —
ты выздоравливаешь с книгой,
а в книге черная пантера в клетке
лежит, как изваяние, недвижно,
то опуская занавесы век,
то поднимая.

И ты с улыбкою то закрываешь
глаза то открываешь, вслед за зверем.
Подходит пара, в стороне рассказчик —
он сравнивает женский взгляд надменный
и равнодушный взгляд пантеры, здесь
завязка брезжит.

Все будет: фехтовальный зал, дуэль,
предместье Сен-Жермен и много солнца.
А лунной ночью на балконе
влюбленные, прильнув друг к другу, выпьют
бутыль, не меньше, поцелуев.
И шелк, и бархат.

Когда-нибудь и ты, и ты поймешь,
что праздность — крестная любви,
ведь пошлое изящество романа
в котором так свернуться хорошо
клубочком, вызволило из болезни,
и вся любовь.

Диалог
(по Чехову)

— Который час? — Зачем тебе? — Того, не знаю сам... Когда с людьми, всё легче.

— Десятый, верно. Видишь, как темно?

— Темно... Сжимают душу клещи...

— Ты погоняй, на Выборгскую мне.

В такую вьюгу заплутать не штука.

— Доедем... Вы к кому? — К родне.

— А у меня все померли... Вот скука...

— На все есть Божья воля! Нынче сыт и пьян, а завтра в ад валяй с грехами!

— Живу, а проглотил как будто кит со всеми, барин, потрохами.

— Ты библию читал? — Да я, того, неграмотный и несмышленный...

— Тогда молись! — Молюсь, но до Него не домолиться... — Звать-то как? — Ионой.

Плясовая с Салтыковым-Щедриным

Вместо европейскости,
на убитой местности
у меня талантливость
проявить атлантливость.

Сдуну бешеную пену
с губ, пойду на рубежи
и построю чудо-стену,
только папа прикажи.

Хоть огнем пали, готов я,
в перси кулаком бия,
возводить ее — сыновья
сила плещется моя!

Можно и снебрежничать,
можно и сневежничать,
вывезут не постные
свойства живоносные!

В рог согнуть кого бараний,
иль сослать на острова,
иль топор четвертований
заточить для торжества.

А появится стригущий
или бреющий, я враз
подгибаю ноги, в гуще
находясь покорных масс.

Есть и утешения
вроде зашения,
есть и воспевания
в стиле оплевания.

И не надо умных лекций,
запад твой — гнилье и ржа,
нет у нас других селекций —
только русская душа.

А что много зуботычин,
не учи — я сам с усам,
вякнешь — будешь избытчен
до портянок. Знаешь сам.

То-то отгорбимся! —
не напрасно рбдимся
в страхе, лжи и кляузе
на условной Яузе.

Выходи, чтоб пригодиться
на строительстве большом,
а сумеешь объягниться —
пополняй страны объём!

Будет дадена в отраду
нам стена на толщю дней:
от чужих создать ограду
и своих приставить к ней.

Из Достоевского

1

День сероват, но сух.
Но да ведь и октябрь.
Во-первых, дух
кладбищенский. И эта гарь.

Гарь мозговая. Почему
мертвец в гробу тяжел?
Не удивляться — глупо потому,
что, значит, не нашел

ты уваженья к миру.
Прилег на камень я, налаживая лиру.

Здесь в самый раз с червей —
и это во-вторых — зайти.
Что может быть черней
земли, в которой взаперти?

О, смерти таинство! Я бок
с ней о бок бы не лег,
с задорной криксою, бобок,
бобок, бобок...

Иосафатова долина.
Супруги вопль и хнык болезный сына.

Вот в третьих: лебезятниковый тон,
хоть и надворный
советник он,
и в гнусности проворной

мысль сладострастная: извлечь
из смерти жизнь,
но ничего уж не стыдиться, неч
теперь стыдиться укоризн.

И всё хихикают — хи-хи! —
и счётец предъявляют из трухи.

В-четвертых — девочка. А как
без девочки? Деликатес.
Доступный вожделенный знак.
Конечно. Судя по цене-с.

И здесь разврата не избёг
(совсем убог!)
и мерзости, бобок, бобок,
бобок, бобок...

Тут я проснулся и прервал строфу.
ТЬфу, тьфу и тьфу.

2

Я что хочу сказать? Проникнутое.
Хе-хе. Гм-гм. А? Ну-тка, ну-тка.
Распрясть впритыкнутое —
а вот и нитка.

Дернь — и пойдет напрасная
мысль виться,

пресладострастная,
слюною смоченная очевидца.

Вся подноготная,
вся грязь подробностей.
Хе-хе. Гм-гм. А? Вся негодная
жизнь с выпадением в загробности.

За сорок мне, а ей шестнадцатый,
плюс ощущение неравенства —
раскладец сладостный
мне, хоть и стыдно молвить, нравится.

В глазенки глядя оробелые,
а чаще — волчьи,
я прожил сам с собою целые
трагедьи молча,

здесь бездна, и покатошь градусов,
и унижение
ее прежалобно и радостно в
душе моей, до слёз и жжения.

Хе-хе. Гм-гм. А? Ну-тка, ну-тка.
Я победил, но не простил,
и горд с тех пор, и не на шутку
разбит, без сил.

Всё ж был бы я доволен суммою,
но как-то раз она несмело,
наверно, думая,
что я отсутствую, запела.

А раз поет, меня кольнуло,
то от меня свободна, — бесья
прельстительная мысль прильнула:
самоубейся.

В Булонь, в Булонь, всё наготове,
но выжег грёзку,
а крови с горстку, с горстку крови,
да, сгорстку, сгорстку!

3

Мне рай привиделся, не наша требуха,
не дно, не вязкой жизни ил,
там жили дети солнца, без греха,
я дал им знание — и развратил.

Они узнали культ небытия,
о, ради вечного успокоенья
в ничтожестве, в смиренно-гордом «я»...
Потом они устали от растленья.

И вот: страдание есть красота, —
так вывели они, а я их землю,
столь ими оскверненную, — о, да,
я кротко полюбил и лишь ее приемлю.

4

Набежала тучка, не облако.
— Шло б быстрее к концу.
Как помрет она, — думает, — мне легко

будет, заживу с сиделкой, тельце
молодое сожму, в ушко
нашепчу нежностей сладко и душно.

Крутит залежалое яблоко
и срезает гнильцу.
— Так и голове, — думает, — побоку
становится собственное рыльце,
которое в сильном пушку.
Размышлением не потворствуй грешку.

Но и жалость вокруг да около.
Все стучится в сердце,
разрывает его, тянет волоком.
Он идет к шкафу — приоткрыв дверцу,
видит драповое пальто...
Усмехается... А куда драпать-то?..

Только подпол улезть, а пбд полом
посидеть в погребце,
полетать в полусне вольным соколом,
утопив горе-голову в винце.
Пробежала тучка, зажглось
солнце в комнате, немного наискось.

Из Стриндберга

Есть чувства странные, живущие не в сердце,
но в животе, и даже не как чувства
живущие — скорей как мышцы. Свет
в подвале зажигая, полсекунды
ты смотришь в никуда, чтобы они
успели незамеченными смыться.
И можно жизнь прожить, не отогнав
и не постигнув маленького чувства,
которое заполнило тебя.
Нелепость. Но когда родную дочь
старик подозревает не своею,
то не измена мучает его,
а то, что он любовь извел на нечто
столь чуждое, что страшно говорить.

Дочь — королю лир

1

Всё утратили.
Вороши кочергой золу.
Что я помню о матери?
Что-то плачущее в углу.

Что там, в тех ночах?
Умерла от твоих
исчезаний разбойничьих
и тиранств расписных?

Нет? Не сходится?
В ночь, как зверь,
не нырял поохотиться?
Теперь

грош цена боли-выкрику,
душой не криви —
нет бесхитростной лирики,
если рыльце в крови.

Слезки вытерла
я, но гниль
прочно возненавидела,
этот выганный стиль.

Помню, дом помещением
стал и выгребом зла.
Нет меня. До прощения
я не доросла.

2

Что за жизнь в полуправде?
Полу-слепо-глуха.
Ты и вся твоя братия —
кто такие? Труха.

При кровавом тиране
родились, но — впопад!
Помогло притирание
«Твор-че-ство». Аромат!

Славострастьем помечен,
жил в свой маленький рост,
речь эзопова, реченька,
извивлялась, как хвост.

И сегодня, как раньше,
ухитряешься врать
и поджилки дрожащие
гением оправдать.

Ты, венец мироздания,
честь и душу не спас,
нет тебе оправдания,
никому среди вас —

нет, в телегу «савраску
спеси» впрягших и ложь
приручивших, обласканных,
отвратительных сплошь.

3

Ты ли, папочка, не бывал сальным,
жеребцом ржущим,

зубоскальным,
пьющим и жрущим?

А под этой лиры шумок подлый
добывал славу
душой потной,
ее, шалаву.

Ты ли, папочка, не бывал склизким,
без конца врущим,
василиском
громкоорущим?

А под этой лиры шумок вывел
арию хромых
и фальшивил:
что ни звук — промах.

Ты ли, папочка, не бывал грубым
не бывал хамом
гнилозубым,
плесенью, хламом?

Больше жизни ты любишь дочурку?
Как на всем свете
никто, урка?
Докажи смертью.

на тему Уоллеса Стивенса

боишься умереть? боюсь. боюсь
животным страхом, никуда не деться.

но есть и ясный взгляд, что без тебя
не только мир, но и друзья
и близкие в итоге обойдутся.
а главное — ты не заметишь сам,
что уменьшаемое стало меньше, —
ведь вычитаемого больше нет.

я часто вижу — нет, не представляю,
а вижу — местность в чистоте
небытия того, кто я. не страшно.
но странно: видеть и при том не быть.

придя в себя, я думаю: умерший —
он слышит обращение к себе,
когда о нем живущий вспоминает,
как вспоминаю я, с такой же силой? —

и если слышит, стоит умереть,
чтобы вполне постичь любовь живого
к себе — вот избавление от страха.

Ночной смотритель

Всё пошептом да пошептом, читай,
что дальше там, какой еще подьячий,
где дочь твоя, смотритель, то-то, чай
несет, глаза в смущенье пряча,
я по казенной надобности здесь,
да, но с предчувствием печальным,
и сердце закипает, занавесь
окно, читай, о чем-нибудь, о дальном,
нет ближе ничего, здорова ль дочь,
бог знает, говоришь, сними с горящих
свечей нагар, читай, что дальше, ночь,
и плач, и причитанья всех скорбящих,
и набережная, и тот трактир,
явленье ротмистра в халате,
лакей военный, да, и вечный мир,
который обретешь на Минском тракте,
здорова ль дочь, да где ты, за прогон
кому платить, кругом одни огарки,
и осень за углом, а с ней сам сон,
и вырин на дворе, вороний, каркий.

Вспоминая Фолкнера

Вышли провожать.
Знаешь, это утро раннее —
недоспал и так темно.
Летнее пахучее тепло.
Керосином тянет, сеном из сарая.
Мать осталась там стоять.

Ну, пошли тропинкой, шли
как наощупь. Сильный
брат с узлом.
Оглянуться? Дом
ощутил спиной. Вчера косили
где-нибудь траву вдали.

Впереди отец.
Он молчит. Мне, может, девять.
Мы идем к шоссе.
Там застыли трое все.
Ну, автобус. Что же делать?
Брат уехал — и конец.

Но одно произошло,
знаешь, странное такое,
темнота хоть глаз
выколи была вокруг нас,
а ушел автобус, я махнул рукою —
тут, поверишь, рассвело.

Отец поэта в 1937 году

Кончалась жизнь, звал сыновей,
в палате неутешно плача
о бедной участи своей.
Кончалась кляча.

Один исчез, махнув рукой,
забыв на табуретке шляпу,
его ждала семья, другой
шел по этапу.

Кончалось жизни вещество,
по капле уходя из тела,
и разве было до него
кому-то дело?

Невестка, младшего жена,
в ночи писала письма мужу,
поскольку изнутри она
рвалась наружу.

Кончалась жизнь, ждала семья
побочная, темничник видел
сквозь прутья не страну — края,
тюремный выдел.

Синела кляча, рядом стог,
молчала, как покойник, почта,
никто друг другу не помог,
и как помочь-то?

Георгий Иванов в парке

Как на пробор газон расчесан —
там свет, здесь тень,
там лето, дребедень детей, здесь осень:
старик, которому всё — дребедень.

А в отдаленье — всяческие люди
то в покаянном, то в обычном блюде
мир истязают, склонны к суесловью,
то страхом смерти, то любовью.

То палкой бьют, то из-под палки
в поту живут.
Безжалостные, потому и жалки.
То жмутся сами, то других прижмут.

И льстят, чтобы в ответ польстили,
их прославляя в том же стиле.
И память по себе хотят оставить
приятную... За что их славить?

Не вижу надобности, право.
Какой-то сброд.
Гремит оркестр военный, крики «браво!»,
а там и хлад ночной свое берёт.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МИРА

История — это собрание фактов,
которых не должно было быть.

Неизвестный автор

В древнеисландском изводе

1

Сговор о женитьбе

— Сколько стоит она?

— Хорош зачин.

Сто сорок локтей сукна

и тридцать овчин.

— По рукам.

— Браги?

Чайки над морем. Гам.

Дальней грозы зигзаги.

Смётано дело.

Холодно. Ночь близка.

К телу пригнано тело,

как два бруска.

2

Мужи

Сварт — на корабль.

Хёрд четверых —

в крошево. Тысячи капль

(точно капель со стрех)

крови — с бортов.

Правый рукав багров.

«Что так яришься, Хёрд?
Видно, крупен твой долг!»
Чёртовый Фьорд.
«Долг мой нисколько».
«Так уж нисколько?
Ты говоришь, как труп».
«Лучше б ты смолк».
«Меч мой сугуб.
Как бы ни был силен
ты, но сильнее сон
смерти. А?» Кличь не кличь —
не отзовется Хёрд.
От вороха дорогих добыч
накренится борт.

3

Жёны

Говорит Йорейд: «Я гостья.
Уступи мне место на этой скамье».
Оск — ни слова.
Думает: подавись костью
ядовитой рыбы. «А что как мне
не встать? Нездорова».

Йорейд на исходе недели —
Ульву: «На Крутой Берег
к Оск поезжай, вот меч,
встретишь работника на его наделе,
оклики: Эйрик!
Обернется — голову с плеч».

Оск зовет Кари: «Где удаль?
Видишь корабль возле Утёса
Кобыльих Морд?»

Хлынула вода, черная как уголь,
в пробитый борт.
Штиль. Ни кормы, ни носа.

P. S.

Наглядись, пока не стало темней,
за подкладку зашей:
никогда в таком наклоне коней
не увидишь, их изогнутых шей.

Возле содранной кожи земли —
остроклювая стая ладей.
Даже блики слóва «вдали»
превосходнее тяжелых людей.

Что им стоит секирой махнуть,
с окровавленной ступить на порог
и отпраздновать ратный путь,
осушив вина пьяный рог?

Как слепой, гора стоит на ветру,
рыбой вяленой проржавлен завод,
тихо в крестики-нолики игру
кладбище за изгородью ведет.

В древнерусском изводе

Сцены в палатах

1

— Черные клобуки
не забудут приголубления
твоего, князь.
Там, где враг стоял —
теперь углубление.
— Ась?

— Ты иди на стол, князь,
а куда обратишься очами,
туда и мы
головами враз,
при тебе палачами.
— Хмы...

— На врага дóски — гвоздь
к гвоздю остриями вниз — и с горки!
Н-но, н-но, враги!
Сядем сверху все,
берендеи да торки!
— Гы!

— Да прокатимся! Ты ж,
разыгравши сочувствие к жертвам,
нас укоришь,
чтоб в народе слыть
не жестокосердым.
— Ишь!

2

Свинеслав: приходи,
брат, на именины!
Брат стоит посреди
пыточной. Ага, заманили!
Тотчас — конюх, с ним торчин,
торчин точит нож, —
остро нож наточен —
вишь ты, вошь! —
навалились вдесятером —
ослепили!

Гусляры, айда воспоем
в заливистом зале
тех, которые в силе,
в силе да в сале.

3

— Споловинь половца,
подлецу к лицу пол-лица,
рысь по полям!
Всех рассечь к херам
пополам!
Держи в страхе
их вовеки
веков, чтоб тряслись ляхи,
чехи, угры да греки!

— Всех уродищ
рассекли, царь, что были,
подстерегли на урочище —
наголову разбили.

А что я один
воротился, царь,
так другие в дым
превратились, в гарь.

— Ничего, отброс,
нарожает бабьё вдругорядь харь.
Кто поборет могучих?
Как отхаркаешься, ать-
два по хатам — брюхать
наших сучек.

4

— Отвори Прокопию, кротче
нет его в наших топях...

— Нет, паробче,
ты не Прокопий.

— Отвори Прокопию, князь,
с доброй вестью...

— Нет, ты казнь,
клевшня мести.

— Навались на дверь,
падлы, кучей! —
Впереди других рычит зверь,
Амбал-ключник.

Сбѣг под сени князь,
от мечей-копий
полужив, — тут как тут мразь,
не Прокопий.

— Сдвинься с места сваво, —
орет задний, — ну-ка,
дай и мне уязвить яво!
Рассяку, сука!

— Отпусти грехи, —
то на смертном ложе
князь, — предаю в руки Твои
дух мой, Боже.

— Эй, он сдох, небось.
Пададь — на заглядение.
Ты, дерьмец, псам ее брось
на съедение.

5

— Нам, рабам твоим, раболепствовать,
а тебе, царь, свирепствовать,
чтоб картинностью зла
любовался всякий из своего угла.

Пусть земля стоит на крови, черна!
Истяжай же превычурно,
запирай на засов,
но не вздумай покинуть нас, послушных псов.

Погуби совсем, но не брось, ни-ни,
волосатым ухом прильни
к небесам — слышь, они
молят: будь с народом своим бессрочны дни.

— Вкусно, ай, вкусно!
Прежде, чем пойдешь вон,
подставляй-ка искусно
судно, сука, под трон!
Все должно быть опрятно
и изящно вельми:
испражнюсь — и обратно —
это ж равноприятно! —
править людьми.

В древнеримском изводе

в трех частях

1

как ни называй их
иберийцами
римлянами
италийцами
хоть патрициями
хоть свиными рылами
всяко ходят скопом
с копьями
с топотом пульса в крови
в поту
вброд
по горло топями
или на плоту
багры багровы
крики
вдоль по реке
ночью жгут костры
и точат когти
и висят большие скотьи
туши на крюке

2

но не смрад силы
не тучи
их фаланг не огонь

не стоны агонии
в смертном позоре
лишь имена певучие
Юлий
Эмилий
Клавдий
Помпей
Антоний
остаются
постыдный случай
истории
оставлять звук имен
а не мольбы тех кто пленен
и не шорох праха
того кто сожжен
и не плачи в горе
поруганных жён

3

да и что из Альпийских
из Тирренского
Ионического
и Адриатики
из слепящего списка
извлечешь
кроме блеска
их величеств
гор
и моря
и прядей дриады
и любви двух
отроков
отроков вдох и выдох
обмороков

сердцу тесно
и другое ему соприродно
и зовет юницу из оков
то одна песня
то другая поочередно

ЛЕПЕТЫ

мотыльковый лепет Эмили¹

1

вальсируют два мотылька
полдневных у ручья,
то их возносят облака,
то приютит скамья.

а то — влечет слепящий свет
за дальние моря,
но из портов известий нет,
по правде говоря.

а донесенья птиц морских,
пиратов иль купцов,
куда б ни шли, — читала их
не я, в конце концов.

2

на крыльях вознесенья он
завис, и мир, как халцедон,
прозрачной вспыхнул вестью, —

миг — и нисходит махаон
на лепестковой дружбы трон,
благоволя предместью —

¹ Эмили Дикинсон — американский поэт, 1830–1886.

3

нумидийский бабочки наряд,
переливчатый, спасавший от
солнца; два крыла,
трепыхнувшись, сложатся вот-вот,
и на клевере она замрет,
словно умерла —

4

ей персть сочувствия дана,
не более, хотя
для Энтомолога она
желанное дитя —

свободна бабочка, всегда
шитье ей в самый раз,
чуть легкомысленна? — о, да!
беспутна? — о, подчас!

поменьше б роскоши на ней —
впорхнула бы легко —
во всяком случае, верней —
в Бессмертия ушко.

детский лепет

1

я пройду к замиранию,
к стадиону, к флажковому реяню,
это раннее, раннее
замирание.

слово молвить мне лень еще,
сердце бьется с опережением,
и стоит зеленеюще-
непреклонным решением

это дерево в праздности
или чудности,
и в немыслящей ясности,
и ветвей ненамеренной чуткости.

2

шел лепестковым шелковым, я шёл к —
шар света выкатился, света шар к
моим ногам — я смолк
и стихнул шарк —
цвел куст шиповника в нем, ал и колк, —
и вечера огарок, зная толк
в закатах, «о» задул и стал огарк.

3

разве это не храм,
где молитва внезапна

и легка —
и стирается ночь по утрам,
а грядущая — далека,
и прозрачно, и тихо-накрапно?

крона дерева клен
так пестрит, подражая
витражу... —
благородством пространства продлен,
я свой шаг совершу
и забуду себя, совершая.

лепетание Джеймса Меррилла¹

в один из летних дней
я затоскую, ах,
по меховой твоей
фигурке на ветвях.

изящество сдает
позиции, виясь
среди яблоневых нот,
и с миром гаснет связь.

что ж, с миром! сер ковчег
материи, но в нем,
замкнувшись, ты разбег
(игра Творца с огнем!)

сияющий берешь,
чтоб сбросить кокон, и
вдруг высвободить дрожь.
как кратки дни твои!

двоящийся дворец,
с мозаикой вразброс.
как я устал, Творец,
от всех метаморфоз!

от аллегорий, от
символик и вполне
двусмысленных красот
куда податься мне?

¹ Джеймс Меррилл — американский поэт, 1926–1995.

когда твои в сачке
затеплились броски?
тот лепет в кулачке
рассыпчатой тоски,

тот полдень, и цветы,
и вздрог-вitraжи,
когда, плененный, ты,
без примеси души,

ты перстью стал самой,
монарх, — вот так и мы
сбегаем, пусть ценой
распада, из тюрьмы.

РОЗАРИЙ

1. Роза в комнате

Сестра переставляет с места
на место вещь,
в ее составе нервам тесно,
скумбрия в томате, лещ¹,

цветут в кувшине ильдефонсы,
в буфете парные фаянсы,
идут, разительная Роза,
вразнос константы,

сестра, безумица, в огне
шипы и лепестки чуть свет,
зачем тебя наедине
с собою нет?

Эвакуация в ушах гремит ли,
когда в вагоне пеленали,
и мётлы
деревьев за окном линяли,

и так насильно
перемещали, что поныне
ты держишь оборону? Или
творишь порядок новых линий?

И мнится, что кругом обида?
Поставь же вещь,

¹ см. «Скумбрия в томате», абсурдное стихотворение польского поэта Константы Ильдефонса Галчинского (с нервным рефреном «скумбрия в томате, лещ»).

чтобы впивалась, не забыта,
в меня как клещ,

вдвинь мне в глаза ее
и водрузи на темя,
омой финальными слезами
пространство-время

и, сердцем истощая ссору,
на склоне дня,
как занавес, задерни штору,
задернь ее.

2. Роза опять

Если в слове «разорение»
переставить «о» и «а»,
то получим «розарение».
Роза, страшная сестра.
Что орешь ты, полоумная,
что случилось, разве жизнь
может быть такая шумная?
Отойди, угомонись.

Выброшусь в окно открытое,
грозовую синевой
выборочно не забытое
в гари дальней, огневой,
там грохочут молча серые
крупноблочные дома,
временные, рухлостенные,
в одичании ума,

люди, души их и органы,
там на ниточках висят

и, взаимностью задержаны,
Богу кулаком грозят.
Вот и ты туда же, дурочка...
Вдруг она притихнет враз
и стоит в деревьях сумрачно,
на ветру с бельем борясь.

3. Роза на даче раз

Она: Не три губу.
Я тебе говорила, сволочь.
Почему ты шапочку на трубу?
Тебе нельзя солнце.

Не тереби
рот. Какой рот
выдержит такую нагрузку? Терпи.
Сиди дома весь день.

Ты сидишь на холодном полу,
сядь на стул.
Я уже не пойму,
к какому идти врачу.

Опять ты рот трешь.
Я тебе салфетку дала.
Он: Почему ты орешь?
Могла бы спокойно...

Она: У меня всю ночь
сердце болело...
А то еще третьего точь-в-точь
месяц назад приснилась

красная клубника размером
с помидор. Плохой сон.
Я растворила
в стакане соль,

сказала: соль растворись,
беда уйди.
Вылила в раковину: брысь
чтобы с глаз. Видишь, не помогло.

Он не должен был умереть.
Всё врачи.
Я бы в суд подала, чтобы эта смерть
не давала им жить спокойно.

(Подметает пол.
Вытирает стол.
Пьет корвалол.)

Весь год снились покойники.
Муж снился.
Я говорю: «Ты же умер»,
А он: «Нас раз в год отпускают».
Вот так номер!

Не тащи
в дом проволоку.
Где он теперь — ищи-свищи.
Не три рот.

Давай я тебе стрептоцидом.
Он: Нет.
Она: Ну, сиди идиотом.
Не береби. Я кому говорю?

Ничего не съел,
все выбрасываю ломтями.
Больше творог не покупаю. (Кашляет.) Надоел
этот кашель.

Что с тобой?
Почему ты свалился с дивана?
Что за напасть? То с губой...
Как будто кто-нибудь его сглазил.

Ты что, шутишь
весь двор кормить?
Как себя поставишь, тем и будешь.
Куда он опять?

(Подметает пол.
Вытирает стол.
Пьет корвалол.)

Ешь сыр.
Не будешь? Тогда я буду.
Я не могу кормить весь мир,
не могу.

У меня сердце болит совсем.
Вот, грушу съешь.
Нет? Тогда я доем.
Он: Надоело мне, хоть сдохни.

Она: Что?
Он: Губа надоела.
Она: Не могу я сто
раз на дню повторять: не жуй рот.

Человек постоянно грызет свой рот.
Никогда не пройдет.

Он: А если ты будешь орать,
то уж точно.

Она: Куда смотрят отец и мать?
Сложи эту игрушку и идем спать.

Я тебе что сказала?

Ну не урод ли!

Он: Мне снился Сережа.

Она: Нет твоего дяди. Врачи убили.

Что тебе снилось?

Он: Что сидит на бревне
и играет в шахматы с папой,
и говорит мне,

что ему хорошо.

Ему хорошо, а нам плохо.

Она: иди спать.

Не поможешь, охай не охай.

(Подметает пол.

Вытирает стол.

Пьет корвалол.)

4. Роза на даче два

На темной веранде Роза

разгадывает кроссворд.

По горизонтали: угроза.

По вертикали: чёрт.

Предостережение, вероятно.
Проклятье, скорей всего.
Совсем темнеет веранда.
Тот, кто умер, того

нет и не будет в мире.
Плачет сидит сестра.
По горизонтали — море.
По вертикали — сосна.

5. Взрыв

Она вошла: в руках три сумки,
матерчатые сумки три, —
как помутненные рассудки,
набиты чепухой они.
Засчитывай мне час за сутки
вблизи родни.

Она поставила их на пол,
потом, с собой заговорив,
сказала: пьет, паскуда, запил...
Я медленно готовил взрыв.
При свете дня, в ночи под лампой ль
зверел мотив?

Из первой сумки вынув нечто,
пихнула в сумку номер три...
и далее... и бесконечно...
Гори, сестра моя, гори,
испелеляй внутрисердечно
себя, твори.

Но вот, вокруг сумок петли ширия,
она задела боком дверь,

ту, за которой, в целом мире
один, дышал косматый зверь.
Насильничай, себя топыря,
мой хмель замерь,

за вновь-миропорядок ратуй
и праведное зло добра!
Уже привстал на ложе брат твой
(гори, гори, моя сестра!),
чтоб дверь со стороны обратной
взорвать. Пора.

Тогда она пробила боком
в дверях зазубренный овал,
и в комнату, забыту Богом,
(я через миг ее взорвал),
она вломилась всем итогом,
и я взорал:

«За то, что голос твой дырявил
мой нежный мозг, за то, что ты
не столько роза, сколько дьявол,
за сумки проклятые три...»
Но не было в окружной яви
уже сестры.

СЛОВА НА ВЕТЕР

пролог

я вышел из воздуха в не
я вышел из воздуха вне
и равенство ве
явилось вещей
и дует из ще
и на ветру щенок

идут ва за ва
летит ве за ве
вдоль насыпи пыль-трава
с собой визави
стоит челове
и говорит слова

с меня начинается я
с меня начинается явь
так зряче зрячка зерно
что доказательства бога зря
рассветная стынь
я жизнь значит сын

иди человек не копи
крапива кропит
и жжет
но следуй за те
пределы где спят
но следуй за тем

за темой она зовет
летит ве за ве
стоит визави завет
летит стрекоза как винт
и дует из ще
и на ветру щенок

театр приехал

приехал театр
в город го
и гам на пло
и гамл на ло
бы иль не бы
под голубым

бежит внутри
него душа
то в две то в три
то в пять сторон
под крик ворон
его дрожа

напрасен гам
умерь свой бег
бы иль не бы
напрасен лет
бег и бесслед
под голубым

ты в колесе
перекабыльств
твой смертен лес
и плащ твой рван
ты пленник бегств
бы иль не бы

ты раб жѣла
ты голод зла
ты раб желаний
ты не в себе
ты пленник бе
ты поле брани

первая репетиция

гардероб в начальной школе
он заика
он пальто ее впитал
зимний запах та та талый
волновался и потел
лену девочку любил

так велел велел вселенский
чтобы лена
превратилась в енисей
и в расплывчатый урал
ровно в полдень на уроке
он услышал умерла
он глядел на карту мира
в этот миг

шарк из школы вон подошв

жарко шарко он впервые
он заика
в костюмерную попал
где тря тря тряпьем пахнуло
и услышал примеряй
примеряй но он отпрянул
чтобы жить

ОКНО

Птичий щебет в золотом окне
и резьба по дереву в огне,
промельк, промельк мотыльковой почты.
Проявленья жизни беспорочны.

Все они растут-летают голенько,
а сквозь них просвечивает нечто,
что не знают люди-алкоголики,
что, в отличие от человека, вечно.

Ты прочтешь это в глазах кошачьих
или в кронах, свет крошащих,
сквозь крапивницу или капустницу узришь —
и в секундном слове воспаришь.

Что чудней и что разнообразней
нелакейских сил природы? Что случайней?
То, что не заискивает в жизни,
ближе к равнодушной ее тайне.

вторая репетиция

старушка не спеша
в руке упалочка
читает по складам га зе ту ту
ту ту идут туда сюда составы
в стране чу чу

из чугуна и ста
и сталин тру
трубит из трубочки
и рубль и рупор и со со
в стране чу чу

со со соратники со со
и пьедесталин
и водит палец по странице га
газеты правда да да да
и мавзоленин

дорогу пальцем перешла
старушка дрях
горошек сыпется пока до ту
ту туалета не дошла ту ту по по
помёт сухой

свисток не слушала
закон нарушила
платите бабушка

штраф три рубля
так зять поет ее в издевке зять
на всякий ци
есть цо на вся
кий цимес есть свой цорес за
заика внук заика внук
и этот цирк

и входит внук одна одна
жды там одна
она лежит молчит и он несме
ло видит и ни сме
ха ни дыха

он видит сме
он видит смер
он видит ть
его зовут при при примерь
ка на себя

из-за портьер его зо зо
из-за дверей
в нем селят страх приснить
вот это ть вот эту тьму
смертьму смертьму

приходит ма приходит ма
приходит ть
она вернулась из страны домой
страны чу чу
и так поет

несу я в сумочке
кусочек булочки

кусочек маслица
два пирожка
поет старушки дочь и мать заи
ки за за занавес

городской пейзаж

Пот осени, когда она тепла.
Задымлены небесные тела.
Голубоглазы жестяные крыши.
За деревьями — острова.
Шарфы на шеях и немного выше.
Яйцо в оплётке — голова.

На Петроградской стороне —
дождей косящая страда.
Когда я в ноябре родился, мне
еще и года не было тогда.
Но уж в родные закрома
ложилась — кто б вы думали? — зима.

Ее полей белеющая мгла.
Секунда жизни быстро истекла.
А то б я волновался дольше
да и сказал намного больше.
Но кротость говорит: будь краток.
И воцаряется порядок.

спектакль XIX века

театр театр
в заштатном го
там чья-то дочь
и срыву в крик
там ужас нищета
так велики и там
шитье и кулебя
и штопанье белья
и огурец солё
и человек трудом
унижен и презрен
и над курыми власть
уродливое копошится самодурство

настращена
сидит жена
в слезах сидит
ветр ставней бьет
отец семейства в ночь
на кухне из печи
берет горшок и щи
неутолимо жрет
он исхарчился на
семью он почтальон
он лавочник мучной
он дьякон боже мой
пропахла комната всквозь деревянным маслом

сверлильщицы
наждашницы
стряпухи бед
и полоумств
век без разгибу тут
и непокрытая
такая бедность тут
что жив с покражи люд
квартирный с ундером
прочь расшибу орет
мы кто куда бежим
и только ежимся
мы видит бог ни в чем особо не причинны

в прижмем да
нажмем да
в буянстве да
в пропойстве да
и снятся деньги да
мысль о разживе да
и подлость на душе
в столь молодых летах
я искажил свое
благообразие
но стих сказать могу
простой и жалобный
пробрать стихом могу в спокое тихости я

с остановками

как безумный льнет мнет ее лицо
целовать пытается но для нее
это пытка смотрит в окно
электрички холодно смотрит и далеко

следующая песочная

светом сочатся стволы муж от нее отстал
обреченно глядит перед собой
жена отводит глаза устало
как если бы их везли на убой

следующая левашово

плешь его ушел в мобильник за за за
окном сосен ровный шаг
она то приоткроет то закроет глаза,
прижимает к груди пластиковый мешок

следующая парголово

покачивается пара голов
где-то в другом конце разговор
высажу врать не надо обрывки слов
точно всемирный стыд идет контролер

следующая шувалово

жалкого жаль и жалкую шпалы
скрипы уключин и крендель булочной
за шлагбаумами
блочные эти дома вечер солнечный

пейзаж в чистом виде

серым мазком положенный океан
(шкурой шторма внутрь)
не говорит: ты меня окинь
взглядом или оклики утром.

плоскость небес — голубоватым мазком,
желтым — прибрежная полоса.
если подглядывать в глазок
за разноцветными голосами,

все разрушишь,
ввалившись душой в окоём.
скука невинная всего лучше.
бесталанность — вот с кем спокойно.

океан слегка на закате горит,
и когда прикуриваешь от него устало,
— отвяжись, — говорит, —
заволокнись уже в свое одеяло.

роль второго плана

как чудесно никем
чистокровным ничем
ничего на крючке
чайка на каланче

ни о чем никаким
беспечально ничьим
вдоль точеной реки
где лепечут лучи

ни о чем ни о ком
и тщета нипочем
только рифма легко
только жизнь горячо

СТАРОСТЬ

Накануне

В девять мы легли —
она у себя, я в своей.
Говорит: «Опять задувает». Ветер земли
дул, раскачивая тень ветвей.
Я хотел ее поддержать,
словно видя висящую на волоске
жизнь, но слов, чтоб ей не дрожать,
не нашел, сам подрагивая в тоске.
Что с того, что подлинность есть
в том, как ветер окно задувает, а ты — свечу,
если наших утрат не счесть
и считать не хочу?
Ничего с того.
Праздник, он с головы до пят
пробирает, мать. Особенно Рождество.
Как начало утрат.

После работы

Я устал.
Ни любви, ни блаженства.
Где ты, мой идеал?
Вот он я. Ты само совершенство.

Идеал!
Сразу хочется под одеяло.
Нет, под несколько одеял.
Сон как первоначало.

Сядь на стул.
Да не тяпой-растяпой.
Что с тобой? Пифагоря хлебнул.
Гегельянки накапай.

Погоди,
я глотну «Абсолюта».
На здоровье. Но так не гляди.
Как? Так люто.

И не зли.
Сколько лет мы с тобою не пара?
Как мы жизнь провели?
В меру личного дара.

Что-то ось
покосилась и в доме безлюдно.
Ничего нам не удалось.
Да. Зато абсолютно.

Перед сном

Сядь рядом, руку твою подержу.
Холодно, я тебе доложу,
в этом году.
Впрочем, не привыкать ко льду.

Настольный свет пусть еще погорит.
Темнота мало что говорит.
Как, не пойму,
мы оказались не нужны никому?

Разве могли предположить,
что и нам дожить
до этого суждено?
Что-то невероятное. Но ведь вот оно.

В зеркале

Муж да жена да убитый дом.

Стол, на столе еда.

— Ждем? — А кого мы ждем?

— Нет или да?

Пара картин. Одна под углом,

взглядом забытая.

Даже еда убитая.

Даже свет над столом.

К окнам огнями прибита ночь.

Пара картин.

— Кто их писал? Сын или дочь?

— Дочь. Или сын.

— Хоть бы шорох какой за стеной.

Как это выразить?

— Надо собраться выбросить

шкаф платяной.

— Хочешь загадку: оно

в комнате, а комната в нем?

— Горе? — Сдаешься? — Давно

сдался. Вздремнем?

По ту сторону

— В ком? — В комнате, говорю.
— Да ты не кричи, не глухой.
Что в комнате? — Свет горит.
Не оставляй за собой.

— Что же еще оставлять
за собой, если не свет? —
Он, улыбаясь, идет выключать,
но не напасть на след.

Так заблудиться в трех
комнатах! Думает: вообще
где это? В чем подвох?
— А-у! Я уже в плаще.

Бормочет: это надо ж уметь...
Ей жаль старика.
— Нам долгая предстоит смерть.
Пойдем пройдемся пока.

В больнице

1

Долго в приёмных покоях,
в этих забоях,
люди надежду питают.
Там их пытаются.

В этих предбанниках-
перебранниках
или в платных палатах,
в белых халатах,
приватно.

Время последней жатвы.
Значит, надо дожать,
чтоб не повадно
было дышать.

Ходят с косами люди,
ищут колосья люто.
Все молодые, эх, голытьба.
Молодость — молотьба.

Что ты такое, псих?
Легкий в психике свих.
Бойню всем нюхом чуя,
ночью кричу я.

2

После укола у-
треннего, что проторен
солнцем к кровати, я у-
миротворён.

Я в окно смотрю,
за окном монтрё
моих dreams
в преломлении призм
и дрём.

На стремянке монтер
под наклоном,
а над ним костер
разгорается клена.

То не с поля везут снопы,
не земля рóдит,
то по небу стопы
света ходят.

Что есть дар не земной,
то и лютый люд не отсудит,
то и будет со мной,
пребудет.

Старик

1. Ищет жену

Дом престарелых. Запах супа.
Отхожих мест. Лекарств. Отбой.
Ряд раскладушек. Одеяла
с пометкой, чтобы свой насест
найти и лечь. Мне пять. Я в детском
саду, откуда поступил
набор стерильных декораций
сюда, в дом, то есть, престарелых:
ряд раскладушек, одеяла
с пометкой, чтобы свой насест
найти и лечь. Я запах кухни
упомянул? Уборной? Капель?
Отбой. Но перед сном
иду в твою палату
сказать «спокойной ночи». В детском
саду я как-то среди ночи
искал родительскую спальню —
белели двери
и превращались из родных
в казенные. Но медленно. По ходу.
По мере приближения. Пока
не расступился сон. Дом престарелых.
Болеют двери. Я ищу твою
палату, постепенно понимая,
что я не помню, где она, что в этом
казнённом доме не найду тебя.
По мере положения... По сходу...
И просыпаюсь весь в слезах.

2. В силках

Долго длился,
взбирался,
потом замедлился,
забоялся,
начал ходить тише,
лежать дольше
в спальной нише,
жизнь стала тоньше —
видна на просвет,
стала блюдцем
с трещиной
(в темноте проклюнется
из окна орешек
фонаря — и нет),
и чуть что —
как бы рёсы,
выпавшие в ночном, —
слёзы, слёзы,
и чуть что —
как бы клянча
жизни, унылый чёлн, —
плачи, плачи,
в кабинете
врача, в окнах,
как в ячейках сетí,
видел, дрогнув,
улицу, кофе
в руках клерка,
в профиль...
Горестно, терпко.
Зачем это быются
мотыльки
или вот блюдца?
Кругом силки.

3. Вспоминает и мудрствует

Шел за ручку на реку, медленно разгорался день,
накупили на рынке ягод и фруктов, дивный
благоухал прилавок, в рифму просилась тень,
и едва отошли, ты схватил белоналивный
плод и роскошно и жадно его разгрыз!
Кто осадит тебя за жадность или осудит?
Смерть? Ты с нею всего лишь теряешь жизнь
и спокойно справишься с тем, что тебя не будет.

Портрет художника в старости

Открываю кладовку, долго смотрю,
что бы такое съесть.
Молоток, плоскогубцы, пила, хрю-хрю.
Не туда притопали, ваша честь.
Стал задумчив, попал впросак:
мусор шел выносить —
и гулял по городу с ним. То ли ум иссяк,
то ли я *возвысился* ум забыть.
Сколько нежности к голубям
и бездомным кошечкам — как люблю
ихний корм подносить к губам
и жевать! Стою и тело свое кормлю.

СТИХИ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Осень полковника

Жидкий (что делать с детьми?!) наконец-то в спальне.
Пальба в ушах.
«Шах!» ему слышится, следом шахидский мат.
Мать, самолеты падают, как плоды
дымные в сентябре.

Бренность, мать. Как когда-то я рисовал,
валятся человечки с небес.
Бес попутал отчизну жалких. Я одинок.
Окна зашторить, лечь.
Легче не видеть, спать.

Патина зеркала. Жидкий наводит взгляд.
Лед, — как учил актер,
тертый калач придворный. —
Твердость. В голосе жесть.
Жест — минимальный. Министра!

Быстро все прочесать и обезвредить — раз.
(Глаз двустволка). Поднять
(мать твою) уровень бедности — два.
Вал удвоить к среде четверга.
Изверга взять живьем.

Вьем веревки, мать, не из тех. Из тихих.
Ихний нрав позволяет — чего не вить?
Вить на Волгу.
Волки на берегу им перегрызают глотки.
Лодки их на море тонут. Не видеть, спать.

Патина зеркала. Капель кремлевских кап.
Клапан сердечный, мать, дребезжит.
Жидкий берет флакон.
Кончить Босого, поднять на копьё башку.
Шкуру с живого содрать.

Рать сюда, грозную рать!
Мать моя женщина, что с детьми —
тьмы их! — что делать с захваченными детьми
Минного Поля? Взорвут — и нет.
Свет моя дочь, слава Богу, в дали

Италии. Молись за нее. Поп — бывший свой.
Воин госбезопасности, японский городской,
воин с гимнастом на шее, —
шельма, лоснится весь, —
весело, чем не цирк.

Фыркнет интеллигент-дурак.
Как и положено чайнику, он кипит.
Прыток, пока не дошло до пыток.
Токовую, мать, терапию забыл.
Пыли этой не счесть.

Есть у них, вшивых, и свой пиит,
питан бедами нашими, дрянь.
Ранена, мямлит, моя душа.
Ужасы перечисляет отчизны, но
безжизнен и пуст.

Пусть они выговорятся. Они мертвы.
Рты не заваривают кашу, только жрут.
Трудно, мать, исключительно МНЕ.
Небо знает. Но я их спасу,
сук беспомощных, я

явь предъявлю им и прикажу: принять!
Мать, и примут.
Муторно Жидкому на душе.
Уши почесывает кошечке Эсэсэсэр.
Серо-буро-малиновый спит в углу попугаюшка Кагэбэ.

сентябрь 2004

Симфония
в пяти приказах с проигрышами и приложением

приказ №1

подчеркну:
всех евреев и не евреев,
сброшенных в овраг,
чтоб не воскресли,
ибо останки, мне гундит чутье,
могут соединиться в подземном
заговоре, найти друг друга
и восстать, даже если восстать
только в моем видении или сне
(ведь на дне каждого сна —
спящий Бог, —
я храню его сон тем, что сплю
не глубоко, держась
от него подальше,
я стою на страже Его
вздрагивающего покоя),
подчеркну:
все останки евреев и не евреев
приказываю взорвать,
чтоб убить их повторно,
и когда пыль невидимая
заметет следы,
ведущие в человеческие видения,
Бог почиет навеки.

(Бог почиет навеки
морщливые веки
прикрывши ох-да прикрывши
рот приоткрывши
ляжет Бог под геранью
люизитом отравлен
ранней ранью
на дотление себе оставлен
на поле брани
целое станет рознью
ранней ранью
или поздней позднью)

приказ №2

ранней ранью
или поздней позднью
подчеркну:
всякий живет дольше кого-то.
я заметил: я не этот кто-то,
я — всякий.
я заметил:
чуть кто исчезнет —
у меня вздох облегчения.
я нахожу
скорбную усладу
в чтении некрологов
и списков убитых.
подчеркну:
приказываю
вѣсти о пропавших бѣз вести
не доводить до моего сведения,
не установив отчетливое
небытие пропавших,

а также
всеми наземными,
морскими
и воздушными средствами
обеспечить впрок
вздохами облегчения
меня как всякого,
кто живет дольше кого-то
и торжествует
в подспудной
явности.

(в подспудной явности
в кирзовых сапогах
о обезглавленность
последнее хахах
о побледнения
о жизнь-коленидрошь
и крик «не надо, нет, не я!»
и сальная с приплясом ложь
в кирзовых розовых
от крови выцветшей
а то в свежебагряных ых
в поддых взашей)

приказ №3

в поддых взашей.
подчеркну: всем —
от обозримых просторов
до Марианского жёлоба,
взору неподвластного,
включительно —
приказываю:

нести людям добро
кто в чем может.
подчеркну:
приказываю установить
для переговоров
стол
с ответвлениями,
доступными для всех стран мира
непосредственно на ощупь.
мы, люди доброй воли,
сядем в торцах,
чтобы достичь паритета.
сколько можно терпеть
все это?
пусть русский корабль
обретет свою гавань.

(гавань гавань табань
Петь сначала ты Петь
а потом ты Вань
грудь повыпяти идя на Припять
припадем землекопы к груди
неродной земли
Петь сначала ты впереди
а потом Вань ты ай-люли
холм тебе насыплю ты пли
а потом ты мне Петь
холм насыпли
будем мертвые песни петь)

приказ №4

будем мертвые песни петь.
прошу отнестись с пониманием —

враг у врат, гораздый
гнёзда вить для ястр ебиных,
враг у врат
враг у врат
повторяйте заклътье,
Schwestern und Brüder.
слыша, что наш упёрдый
нимврод глаголет,
внук Хама,
и телегенты высоколобные,
прошу отнестись с пониманием
к приказу:
преподать урок
уркам-пособникам,
всех окружить,
пусть покóсит мор
миллион-другой
ради мыра в целом.
мыру мыр.
сжечь рожальни.
превратить уркаину в руину —
так на нашем вымени,
Schwestern und Brüder, начертано,
так нас учит Дристос Возбздевший
руки к небу,
бог Болот наших Влагопахлых
в Гнийлом Храмсе.

(в Гнийлом Храмсе
тебе мой бог
в любви отдамся
мой Hände Noch
Возбздевший руки
тебе молюсь

и в ноги суке
тебе валюсь
ты мне сорóдный
пока не сдох
спаси нимврод мой
мой Хэндэ Хох)

приказ №5

мой Хэндэ Хох.
скажу сразу, это крайне важно:
он и ваш бог.
руки вверх все, кто за.
а теперь обеими за руками
распишитесь кровью
в том, что за.
скажу сразу, это крайне важно:
приказываю:
учредить
премию Бункера
и
вручать посмертно
каждому, кто обмакнет
умственное перо
в последнюю каплю своей крови
и напишет Z.
это значит мы русские.
Зиг хайль!

(Зиг хайль!
Я один стою пред Единым.
Ущипну себя — я ль?
Остаюсь не едимым.

Алтай-Болтай, я сижу,
Алтай-Болтай, я ужу
на червя, тебя съевшего.
А какого ты лешего
жил? Оглох?
В ад ли сгинул ты? В рай ль?
Хэнде Хох!
Зиг хайль!)

9 марта 2022

страна

1

копнешь — и расшевелится,
расшебуршится прах,
как шушвальная швейница
в лохматых лоскутах,

проклянчится, проклянется
да и пойдет в разлёт:
то в небеса расплунется,
то землю облюёт,

то в смра́женье прокра́дется
на людные стези,
чтоб вширь и вшмяк разгадаться
и расцвести в грязи.

2

сви́репéй
в зле и сраме
и вскорми упырей
гнилью в мусорной яме,

без затей
с потрохами
пожирая людей
и рыгая стихами,

всё ярёй
рви когтями,
начиная с червей,
чтоб закончить крестями.

у окна

я пью с тобой, нелюдь.
душа не болит.
тем более, наледь
глаза стекленит.

ты помнишь, намедни
здесь был человек?
он знал, что целебней,
и к слову прибег.

но прежде он выбил
окно — за окном
(ты выпил? я выпил),
объятый огнем,

кричал еще кто-то.
(по новой? налей)
той ночью охота
велась на людей.

«есть матери, дети, —
сказал человек, —
есть горе на свете.
отныне навек

будь там, где унижен,
замучен, распят
живущий и выжжен
взращенный им сад».

что ж, будем. я выпью
за это с тобой,
мы скованы цепью,
подлец, ледяной.

египетское

вода, льющаяся из крана
да обратится в кровь.
да постигнет чумной ров
ублюдка-тирана.

хаза да провоняет, дабы
в шконке его, в жратве
и у братвы в ботве
жили черви и жабы.

да зловонят в гнезде отбросы,
да облепят его мурло
до того, как пожрет жерло
времени, кровососы.

да обрушится на сусеки
и его терема
смертоносная тьма,
непроглядная тьма навеки.

да сойдут ангелы смерти
на детей его
и возьмут всех до одного
на горящие жерди.

как бы зиждиться забвеньями?
вот ведь, что ни взмах ресницы,
мерзкими поползновеньями
воздух, брезгуя, грязнится.

как белье пронумерованный,
ты постиран и приглажен,
кровопивец гримированный,
унавожен и уважен.

не хочу звериный дар нести —
что пошлее и постылее?
я не страсть, но немощь старости
славлю и покой бессилия.

не того, когда не ранится
тихая душа усердная,
ибо и тебя, душа-избранница,
славлю, всякий миг бессмертная.

художник

он творит полотно,
бледный как полотно,
потому что война.
его участь двойна
и странна.

он с одной стороны
сын роскошной весны,
а с другой стороны —
сатаны.

пот кровавый кровит,
все залить норовит.

он с одной стороны
сыт и пьян, пьян и сыт,
а с другой стороны
он убит.

он войне отомстит.
он урон возместит.
райский сад на холсте
бог простит на кресте,
бог простит.

там

там председатель велимир, туда
заходит сальвадор развесить циферблаты
текучие, как белая вода.
нет времени. одни заплаты.

горит жираф. м-сье пьер вдали
высматривает, как меж облаков посконных
летит отрубленная голова земли
в бинтах дорог испепеленных.

новый гамлет

нет лица на мне? мушиная ползотня?
да! потирание лапок, жужжащий рой.
это щекочет, шипящими семеня,
тщеславие жить. пришипимся. не впервой.
там ведь что предписано? не иметь
во главе себя литого тельца,
но не предписано умереть
из-за того, что нет, мол, на мне лица.
дольний, горний ли мир — на все господня
воля, я не знаю свой смертный час.
завтра у нас преставление! не сегодня.
а сегодня, зеваки, преставления нет для вас.

на полях

убивают отпетые
суть убойники,
а лежат не отпетые
суть покойники.
тем жесточе палачится
заартаченным,
чем отчаянней плачется
по утраченным.
я смотрю на убитого —
не шевелится.
жаль, что слово пиитово
шустро мелется.
жаль, что воплями
барды ожили...
не лежащему во поле
можно ли?

на родине

я ехал в скором «ленинград — талды-курган».
какой-то рядом мчал туды уркан,
в окно глядел: «как хорошет
страна!», светило солнце, «припекат!» —
так говорил он, пил и жрал паштет,
а после, сникши, бормотнул «темнет... закат...»

и вдруг с животным непостижным норовом
на полку повалился боровом.

в ту ночь от духоты и недобора
глагольных гласных, презирая вора,
умёрших видел я друзей — сон, из которого
вон вырывался, но кричал теням «до скорого!»

крестный пууть

унижали. почему не унижать? —
ты родился, чтоб кому-нибудь мешать.

выворачивали руки. почему? —
чтоб нагнуть — не засти людям тьму.

не хватало им одной щеки —
подставляй другую — для другой руки.

говоришь, лежачего не бьют?
как не бить тому, кто в кáлиги¹ обут?

а помимо, било солнце по глазам.
но я воли не давал слезам.

заприметил чей-то дом, он с виду был
добрым домом — никого не бил.

я сказал: «хозяин, не гони
прочь, спаси и дай передохнуть в тени».

«нет, — ответил, — не спасу».
тут из жалости к нему я уронил слезу.

потемнело, и закатная строка,
к счастью, господи, была не далека.

¹ кáлиги — солдатская обувь у римлян, полусапоги.

два диалога

1. in tepido rogo¹

весь мир:

ни отступники, ни мятежники, мы не грешили,
не якшались с чужими,
мы не жадны и не хитры́,
не разорjali землю, не разрушали шатры,
и смиряли упорствующую в распутстве плоть,
и клялись «жив Господь!».

хор детей:

отчего же
вышел лев из леса нас поразить,
вышел волк пустынный опустошить
городá, где нам хорошо играть,
вышел барс нас подстергать?

оттого что ложно клялись вы и ласковые слова
не рождались из сáмого существа,
но заготавливались и складывались, как дрова... —
вот и пришла приманчивая пора
песни скорби петь у костра.

¹ в остывающем костре (из «Скорбных элегий» Овидия).

2. non mi destar¹

весь мир:

нет, нет, мы, домочадцы, не рабы,
ни в чем ни перед кем не провинились:
мы не осуетились от борьбы
за жизнь, не осквернились,
и мы под деревом, как зверь иль скот,
не блудодействуем. над нами звездный небосвод.

мы с радостью, легко, не тяжело,
беседуем о Микеланджело.

хор детей:

мы хор, мы гибнем (как велит поэт) в трагедии.
мы хоргог, мы от слова «хор». мы ваши дети.
но мы отныне под землей
недосягаемы — ведь смерти нет повторной.
вы нас убили и присыпали золой
тишайшей, черной.

¹ не буди меня (из Микеланджело).

из Готфрида Бенна

пока палач бесчинствует, поплачем
и поскорбим,
мы страусы, мы головы попрячем
не вострубим.

смотри, смотри, как совестливо дышит,
когда на бис,
кисть обмакнув, свои полотна пишет
полотнопис,

как исподволь (зато душе раздолье!)
творит добро
тот, кто веками вечное в подполье
точил перо.

будь классиком! они не умирают —
один из них
писал, что времена не выбирают,
живи в любых...

шалишь! мы выбрали это время,
мы тут как тут,
мы племя страха, страусово племя,
мы страшный суд

над собственной жизнью в скобках.
давай, давай,
бесчинствуй, мразь, и струсивших уёбков
поубивай.

псалом

ассирийство убийств серийных оставь себе,
наряжай пленных в шкуру зверей
и бросай на съеденье псам,

пусть в утробе, в гнилой твоей скорлупе,
пусть в урне твоей
вавилонствует всё, что мерзко глазам.

золотые иглы на храме моем остры,
пусть его сторонятся хищные птицы,

ястреби́, истреби меня, тадж-махай крылом,
в изголовье моем останется камень —

Эвэн дэ́рэх¹ —

я не путы и пыль по дороге в месопотамск —
я есть пылкость палящих псалмов Давида,
язык мой горящ и вязк,

я не греков мраморно-мертвая древность,
я живая кровь,
я живая к Жалящему и Милующему ревность —
жаден я до его даров.

¹ камень как ориентир в пути.

эта твердь, небо ночей и дней, —
проповедь, проповедь славы Твоей,
пусть ум сердца — вот он! — будет угоден Тебе.

еще псалом

сердце, сердце левое мое, Господи, — право! —
потому разрывает грудь.
дай прозренья мне, чтоб воссияла слава,
слава Твоя, Господи, или вовсе меня забудь.
видишь зависть мою к этим куцым
умом безумцам —

к ним, не знающим, что не изъеден
лепрой и не в рванье убийца
(пусть издохнет в гниении каждая в нем крупица!)
и что смерть истребляет того, кто беден
и беззащитен? раз мне выпало сбывться,
сделай так, чтоб я стал неведен.

каракурты сѣти ткнут, началась путѣна —
на людей, не рыб,
началась охота. разгрязло небо, оно трясина.
в луже моря, среди осклизлых глыб,
вижу тушу,
чьи глаза от жира выкатились наружу.

для того ли я сердце свое очищал вседенно
и всенощно и руки
омывал в невинности, чтоб себя на съеденье
людоедам отдать, давѣющимся жратвой от скуки,
живодерам? конец ли света
Ты задумал? Ты видел это?

пошатнулись ноги мои, теперь я знаю:
пошатнулись. не себя обличая,
жил, но едва прозрел, увидел: сытую стаю
Ты обрёл на ублюдность. разве не жил рыча я,
как они? но сердце окрепло,
восстав из пепла.

ДАВИД

1

Как же тебя изранил
Враг твой, поражена
Стать твоя, о Израиль!
Вот — убита она!

Геф да не будет вздыблен
Молвой о беде,
Радующей дочерей филистимлян.
Где вы, сильные, где?

Да не сойдут, Гелвуя,
На тебя ни дождь, ни роса,
Ибо там щит Саула.

Вот — убита краса!

Кто одевал вас в платья,
Как в роскошь порфир? —
Плачьте, израильтянки, плачьте!
Дом ваш отныне сир.

С Ионафаном в сети
Смерти попался лев,
Не разлучась и в смерти
С сыном. Горе и гнев!

Ионафан повергнут!
Как по тебе скорблю!
Меркнет в глазах моих, меркнет
Всё, что люблю.

Как же тебя изранил
Враг твой, поражена
Стать твоя, о Израиль!
Вот — убита она!

2

Ни шалых стад,
Точащих смрад, —
 Блажен, блажен! —
Ни жирных шей
Властемужей, —
 Блажен, блажен!
Волей Его приневолен,
Солью Его просолен. —
 Так влагой недр
 Вспоенный кедр
Остро преодолен
И совершен!
 Нечисти чавк
 В чахлых ночах
 Сгинет в безвестье.
Вечны созвездья
Только у праведника в очах.

3

Зачем взвихрён
Тщетою времён
 Народ? Воззри —
Зачем восставшие цари
 Идут — воззри! —
На Господа? И бред племён
 Воспламенён:
 «Расторгнем узы
С Ним и с Помазанником Божьим!»
 Как бездорожьем
 Пройдёте, трусы?
«Сияю в Сыне, —
Так скажет Он, —

Рождённом ныне.
Ему — Сион.
 Ему в наследье
 Тысячелетья
 И Мой народ —
 Мой многосвечник.

А ты, увечник,
Слепей, чем крот». —
 В страхе склонясь,
 Радуйся в Нём,
 Он совершен.
 Или, гневясь,
 Выжгу огнём
 Порчу и тлен.
Лишь уповающий на Него
В мощи блажен.

4

Мыши вражды шуршат,
Грудятся в сыпкий сор.
«Не пощадит, — пицат, —
Шею твою, Шаддай...»
 Боже, Ты мой простор,
 Крепость моя, мой сад!
 Дню говоришь: светай, —
Сын Твой безмерно рад!
Вот — я встаю с зарёй.
Вот — я ложусь и сплю
Под небесным шатром.
Жизнь Твоим Словом длю.
 Боже, Свой Суд верши,
 Зубы им сокруши.
 Не утрашусь шелудивых орд.
 Боже, благословен Твой народ!

5

Услышь мой голос, Эль-Шаддай, молю.
Ты и в тесненье ширил жизнь мою,
Бог истины, Тебе мои молитвы!

Сыны вельмож, зачем хотите лжи
И множитесь, как блохи или вши,
В кишении, для насекомой битвы?

Бог *лучшего* избрал из сыновей
Святительствовать. В ярости своей
Не согрешив, размыслите на ложе

И уповайте, жертву принеся
От сердца, на Него. Вся радость, вся
Жизнь светоносная, хлеб и вино — мой Боже!

6

Едва начнёт растоп
Заря, — я пред Тобой,
Услышь, Господь, мой воп,
Молитвословный мой.

Ты пагуба лжецов,
Паскуд и грехомыг,
Чьи рты вроде гробов
Разверстых, а язык —

Труперхнущая лесь.
Войду в Твой храм, зане
Твоих щедрот не счесть.
Страх — очищенье мне.

Коварства не прими
И злобы не прощай.
Лишь Сына путь прями
И благостью венчай.

7

Порази,
Но когда не во гневе,
Не во гневе и ярости,
И спаси,
Я в смертельной огневе, —
Кость, как хворост, трещит
В скорбной хворости.

Порази,
Но избавь и помилуй.
Где Твой щит?
Оборвутся сыновьи стези, —
Кто Твоей залюбуется Силой?
Быв слезами прошит

Всквозь, ослеп, —
Зренья жила
Пересохла, застыла.
Вы, прислужники идольских треб,
Слово Божие — вот! — оно не для
Вас, чей хлеб —
Требуха, — прочь немедля!

8

С мольбою, Господи, и стоном:
Обереги!

Как зверя, промышляют гоном
Меня враги.

Да не будет настолько сильна
Лапа льва,
Чтоб гортань мою пережать.
Мне ль в позоре дрожать?
Если ж доброму был я неверн,
Если скверн
Был я на руку, скор и зол, —
Пусть затопчут в подзол!

Так пробудись судить по правде,
Чтоб сокрушить
Зломудрия блажные рати,
Дай Сыну жить!

Эль-Шаддай, Ты мой щит и судья,
Снизойдя
До меня, испытатель нутра,
Дай добра.
Пусть смертельные стрелы летят,
Впив свой яд
В нечестивцев, да будет им кров —
Смрадный ров.

Пусть яму роющий в ту яму
Сам упадёт!
О Боже, славлю Твоё Имя
И Твой народ!

9

Твоё Имя
Сквозь земной замес
Прорастает,
Твоё Имя
На шитье небес
Проступает,

Твоё Имя
Младенца уста
Восхваляют,
Твоё Имя —
Как выхлест кнута
Тем, кто лает.

О, Эль-Шаддай, вот гроздь звёзд,
Вот спелые плоды планет,
Вот деревья дремучий рост, —
Дай мне ответ! —
Кто человек Тебе, что Ты
С небесных нив
К нему нисходишь, с высоты,
Пред ангелом не умалив?

Птицы неба
И рыбы морей,
Мги и ветры,
Срезок хлеба
И крики зверей —
Дар твой щедрый!

Твоё Имя
Сквозь земной замес
Прорастает,
Твоё Имя
На шитье небес
Проступает.

10

Возвеселюсь всем сердца торжеством,
Всем торжеством, всем сердцем, —
Ты уготовил гибель иноверцам,
Ты разорил их дом!

Возвеселюсь, — Ты их обезоружил!
Когда в живых
Осталась только память, — Ты разрушил
И память их.

Престол Его воздвигнут для суда,
Господь по правде судит
И нищему прибежищем пребудет
Во дни скорбей всегда!
Возвеселюсь, — на Имя уповаю
Его! Воспой
Хвалу Тому, Кому я воспеваю
Хвалу собой.

11

Уповаю на Господа.
Прямодушному ль, в страх
Обратившись, в горах
Потаиться от аспида?

Иль душа моя — птах,
Чтоб вот так улетучиться?
Нечисть, шепчете, тучится
Сокрушить меня? В прах

Крепость веры разрушена? —
Не поддамся на ваш
приговор. *Он* мой страж.
Воздух мой. Не отдушина.

Он из огненных сот
Напоит нечисть досыта.
Уповаю на Господа.
Кто испытывает, тот спасёт.

12

Спаси, Господь! В чести соблазны
Лукавых: «Кто нам господин,
Когда державным словом властны?»
Кадильщики все как один.

Лишь нищему Ты явлен в Силе
И лишь творящему добро
Твои слова — семь раз в горниле
Очищенное серебро.

Повергни криводушных в известь
Горящую, чтоб извести
Их племя, — здесь, где только низость
И велеречие в чести.

13

Господи, утоли мою жажду,
Утоли,
Не скрывай лицо Твоё, стражду!
О, долго ли,
Долго ли буду Тобой забыт?

Сердце моё исполнено скорби,
Долго ли
Надо мной возноситься в скопе
Этой голи?
Плач мой Тебя да не прогневит!

Ты от сомнения мою душу
Удали,
Если под натиском их струшу.
О, долго ли,
Долго ли буду Тобой забыт?

14

Саула зык: «Он с Господом завет
Не заключал!» Чей вздор безумец истый
За чистую монету принял? Нет
Монеты чистой.

Наветы их — для пагубных потреб,
Не о добре забота их — о злате,
Они сжирают мой народ, как хлеб,
Давясь в разврате.

*Того, кто нищ, — не их, забывших стыд,
Не их, живущих зло и беззаконно, —
его спасенье светом осенит,
сошед с Сиона.*

15

Тот, Эль-Шаддай, не пошатнётся в страхе,
Кто не клеветает, кто призрел
Превозносящего Тебя изгоя,
Тот, Эль-Шаддай, кто сердцем не одрях и
От устражателей не присмирел,
Тот, кто ревнитель Твоего устоя.

Скупец, копящий серебро, безбожен.
Лишь тот, кто скареда презрел,
Тот, Эль-Шаддай, кто праведен, и нищ, и,
Поклявшись (хоть злодею!), непреложен
И верен слову, кто Тебя воспел,
Тот, Эль-Шаддай, живёт в Твоём жилище.

16

С чужбины песнь моя, Эль-Олам,
Не поколеблюсь,
Не поклонюсь их идолам,
К Единственному всей душой леплюсь.
 Пою хвалу Тебе, Эль-Олам,
 И спящий, ночью,
 Возрадуюсь Твоим делам,
 Припав к Тебе всей жаждой, как к ручью.
Нет, в земле и у филистимлян
Не сотлеет плоть,
И душа — ведь Ты всемогущ! —
Не сойдёт в кромешный Шеол, Господь!
 Насквозь, насквозь, до мозга костей
 Возвеселюсь я,
 Жизнь преизбытком радостей
 Полнится — перед лицом Твоим — вся!

17

Ты испытал моё сердце, Ты посетил меня ночью,
Ты не нашёл двоеверца, — пусть же воззрят Твои очи:

Вот он — един неподкупно; мысль его, ставшая речью,
Только с Тобой; неотступно с Господом сын человечесий.

Так приклони Твоё ухо, чтобы услышать мой голос:
Пусть дуновение духа в гневе колеблет, как колос,

Боготворных и скрытных, ждущих, как хищник, добычи,
Чревоугодников сытых! О, низложи их обычай!

Вопль мой: меня, как зеницу ока, храни; от надменных
Спрячь, ибо славлю десницу Бога в стихах сокровенных.

Чрево насытит, родившись в мир, эти выродки тщатся!
Я же хочу, пробудившись, только Тобой насыщаться.

18

Господь, моя скала, твердыня,
Спасения трубящий рог,
Вчера взывал к Тебе, а ныне
Благодарю Тебя, мой Бог.
Опутанный сетями смерти,
Взывал — и Ты распутал сети;
Цепями ада отягчён,
Взывал — и Ты рассыпал цепи;
И потряслись земные крепки,
И преломился небосклон.

Так Он сошёл, вокруг подъявля
Огонь и дым, во мраке вод
И облаков, с небес на землю;
Угль возжигая, плавя лёд,
Сошёл — и возгремел Всевышний,
И голос был, повсюду слышный,
И молнией был враг сражён;
От дуновенья духа гнева
До корня обнажилось древо
Вселенной — *так* явился Он.

Рукою, с высоты простёртой,
Из многих вод меня извлёк,
Когда в дни бедствий, полумёртвый,
Лежал я, — мой Спаситель, Бог.

Я оставался непорочен
Пред Ним, неколебим и прочен.
Он спас хранящего завет
И Он возвёл его на царство.
Лукавому же за лукавство
Воздал. Сияй, Господний свет!

Кто, кроме Господа, защита?
Кто просвещает тьму мою?
Чьё слово всё из света свито?
Кому я эту песнь пою?
Кто крепость дал моим коленям
И бегом наделил оленьим?
Кто руки битве научил?
Я мчался за врагом и в яме
Я попирал его ногами,
Пока он в смерти не почил.

Иноплеменники трепещут!
Защитник, мстящий за меня,
Благословен Ты! Звёзды блещут
В ночи, и жарко солнце дня!
Ты от жестокого избавил
Меня — и я Тебя восславил.
Ты даровал мне дух и плоть —
И Слово не умрёт, забыто! —
Спасающий царя Давида,
Тебя поющего, Господь!

19

Эта твердь,
Небо ночей и дней, —
Проповедь,
Проповедь славы Твоей.

Этот день
Речью впадает в день,
А ночная сень —
Тишиною — в ночную сень.

Пусть, о пусть —
Не оставь в мольбе! —
Ум сердца моего и шёпот уст
Будут угодны Тебе.

Твой закон —
Это превечная кровь
Всех племён
И земных языков.

Солнцу знак
Подал — и в небесах Твоих
Оно засияло, как
В брачных чертогах жених.

Пусть, о пусть —
Не оставь в мольбе! —
Ум сердца моего и шёпот уст
Будут угодны Тебе.

Свет лучист.
Звёздам нет числа.
Страх Твой чист.
Заповедь Твоя светла.

Искушает явь.
От развратной лжи
Потайной — избавь,
От неистовой — удержи.

Пусть, о пусть —
Не оставь в мольбе! —
Ум сердца моего и шёпот уст
Будут угодны Тебе.

20

Блажен, кому отпущены грехи,
Кто Господу, что новые мехи.

Дух взаперти пытал меня, как гость
Из преисподней, сохли кровь и кость.

Так тяжела была рука Твоя,
Что я открылся, грех свой не тая,

До глубины, и Ты, склонив Твой слух
Ко мне, освободил скорбящий дух

Для радости. Пусть праведник творит
Молитву и Тебя благодарит.

«Я вразумлю тебя — в Моих руках
Твой путь, не попирай себя, как прах.

Не будь, как необузданный лошак,
Чтобы уздой Я сдерживал твой шаг».

Путь нечестивого — греховный тлен.
Ты ж, праведник, пой Господа, блажен.

21

Смилуйся, Эль-Шаддай,
Дай мне прощенье, дай.
Грех мой, что требуха.
Вычисти грязь греха.

Смилуйся, Боже мой,
Беззаконие смой.
Я его совершил.
Лучше бы я не жил.

Взгляд мой застит оно
Так, что глазам темно.
Смилуйся, пусть спасут
Твой приговор и суд.

Я Тебя оскорбил.
Лучше бы я не был.
Во грехе я зачат.
Боже, сойди в мой ад.

Свет на меня пролей,
Чтобы я стал белей
Снега, испоп-травой
Окропи, Боже мой.

Грех убил всё, чем жив,
Мой хребет сокрушив.
Кости мои срасти.
Радость в Твоей горсти.

Радость спасения.
Я без Тебя не я.
Сколько ты дал мне сил!
Страстью я жизнь затмил.

Заново сотвори
Бьющееся внутри
Сердце моё, Шаддай.
Дай мне прощенье, дай.

Пролил я кровь. Избавь
От греха, не оставь.
Жертвы не приношу.
Духом Тебе служу.

22

О будь благословен, мой Избавитель,
Моя твердыня, Ты в мои персты
Вложил копьё, могучий щит мой — Ты.
Я Твой воитель.

Не дивно ли, что обращён Господень
Взгляд на того, чья жизнь на волоске!
Что человек? — Тень ветра на песке.
Он мимолётен.

Сойдя с небес, Тобою наклонённых, —
Тебе покорны молнии, мой Бог! —
Молю, испепели дотла врагов
Иноплеменных!

Десница их — десница лжи безумной.
Избавь! Они ползут со всех сторон.
Тебя лишь славит мой псалтерион
Десятиструнный!

Да вымрет род их пагубный и тощий!
Да возрастут сыны Твои, как лес,
И дочери — под нежностью небес —
Прекрасной рощей!

Да будут наши житницы обильны
Зерном, да приумножатся стада!
Твоя рука щедра во все года,
А власть всесильна!

P. S.

Быть

Слову ясному вторю,
хоть звучит, чужеземное, странно. —
Помнишь, кедр плыл по морю
из Ливана

в Яффу, и на причале,
там, где солнце заходит атласно,
плач ли, радость звучали
громогласно?

Помнишь, Богу, как другу,
некий старец шепнул, в праздник кущей:
«Не ослабь мою руку,
Вседогащий,

укрепи моё знание,
проведи мою плоть через пламень,
чтобы лёг в основание
Храма камень»?

Человек, ты в Завете.
С места сетования и унынья
поднимись, чтоб на свете
быть отныне.

СОДЕРЖАНИЕ

ДОЧЬ

Надпись на книге	5
1. Нас впитавшие вещи	6
2. Одни на пляже.....	7
3. Мистулансаари	8
4. Дочь засыпает, я становлюсь на вахту.....	9
5. Ее пробуждение.....	10
6. Ты.....	11
7. Тост	12
В цветных плоскостях	
1. «Только тайна тайн...».....	13
2. «О, помещённость...»	13
3. «Пыльной музыкой ДППШ...».....	14
4. «Мы здесь бродили...»	14
5. «С этой горечью не знаю сам...».....	15
6. «В этой ясной кривизне...».....	15
Р.С. «Если однажды не вынырну...»	16
«Дверью хлопнула и ушла...».....	17
«Она подошла к дому...»	18
Песня.....	20
«То ли крестиком вышито...»	22
Элегия с недостающей запятой.....	23

БЕЗ ТЕМЫ, ВРАЗНОБОЙ

Даль	26
«Проездом, лучшее проездом...».....	27
Петербургское	28
«Будешь мелкой дрожью еще дрожать...»	30

«Отвесной ясности паденье...»	31
Сон.....	32
Осень	33
«Помнишь, мы родились...».....	34
Ты	36
Голос	37
«Пруд застелило листьями...».....	38
Сегодня.....	39
В автобусе.....	40
Январское.....	42
Глаголы	44
Конькобежец	45
Рай.....	46
Улица Жореса.....	47
«Двадцать лет как ее не стало...»	48
Пловец.....	49
Стоическое дерево.....	50
Ваятель	51
Прощание с баржой и отроком	52
Два окна	
1. «за окном закипела крона...».....	53
2. «не могло не быть неба. небо...».....	53
смерть на берегу	55
почти летя.....	56
на исходе осени	57
шепотом	58
каприччио	59
через сорок пять лет.....	60
окна.....	61
она говорит	63
монолог соседа	64
опять они	65
мы	
1. «шевеленье на полáтях...».....	66
2. «есть “счетовод” и есть “подрядчик”...»	67
3. «со стеариновыми в поле...»	67

Чернорабочий

1. некто	69
2. из кочегарки	69
3. смотрение.....	70
4. со смены	71
«там, где треплется слово “душа” ...».....	72
«до головокружения высокое...».....	73
проход по авансцене.....	74
детство.....	75
воспоминание в феврале	76
«нет, не мимо дворца...»	77
«ты жив родством...»	78
P.P.S.	79
наказ покинутому.....	80
сон	81
sunday in Rock Hill.....	82
На прощание	85

ХАРЬКОВСКАЯ ТРИЛОГИЯ

1. сарай.....	86
2. пир.....	91
3. Сумская	96

БРАТИШКИ И СЕСТРЕНКИ

Нищий	100
В ресторане.....	101
Актриска	102
Ответ проезжего	104
«Жил среди выжженных...».....	105
Александр.....	106
Композитор.....	108
В переходе.....	110
День	111

Крем-брюле.....	112
Смерть Кочеткова.....	114
О безвинной грешнице.....	115

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Библиотекарь.....	116
Два стихотворения	
1. Акакий.....	119
2. Брат.....	119
Антиклея — Улиссу.....	121
Улисс в подземном царстве.....	122
Элегия. Встреча.....	123
Элегия. Зеркало сцены.....	125
Элегия. Поэт-романтик.....	127
Из Луцилия.....	128
Читая о Сэлинджере	
1. Хюртгенвальд.....	129
2. Кауферинг.....	130
Французский роман.....	131
Диалог.....	132
Плясовая с Салтыковым-Щедриным.....	133
Из Достоевского.....	135
Из Стриндберга.....	140
Дочь — королю лир	
1. «Всё утратили...».....	141
2. «Что за жизнь в полуправде?».....	142
3. «Ты ли, папочка, не бывал сальным...».....	142
на тему Уоллеса Стивенса.....	144
Ночной смотритель.....	145
Вспоминая Фолкнера.....	146
Отец поэта в 1937 году.....	147
Георгий Иванов в парке.....	148

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МИРА

В древнеисландском изводе	
1. Сговор о женитьбе.....	149
2. Мужи.....	149
3. Жёны.....	150
P.S. «Наглядишь, пока не стало темней...».....	151
В древнерусском изводе	
Сцены в палатах	
1. « — Черные клобуки...».....	152
2. «Свинеслав: приходи...».....	153
3. « — Споловинь половца...».....	153
4. « — Отвори Прокопию, кротче...».....	154
5. « — Нам, рабам твоим, раболепствовать...».....	155
6. « — Вкусно, ай, вкусно!..».....	156
В древнеримском изводе	
1. «как ни называй их...».....	157
2. «но не смрад силы...».....	157
3. «да и что из Альпийских...».....	158

ЛЕПЕТЫ

мотыльковый лепет Эмили	
1. «вальсируют два мотылька...».....	160
2. «на крыльях вознесенья он...».....	160
3. «ей персть сочувствия дана...».....	161
детский лепет	
1. «я пройду к замиранию...».....	162
2. «шел лепестковым шелковым, я шёл к...».....	162
3. «разве это не храм...».....	162
лепетание Джеймса Меррилла.....	164

РОЗАРИЙ

1. Роза в комнате.....	166
2. Роза опять.....	167

3. Роза на даче раз	168
4. Роза на даче два	171
5. Взрыв	172

СЛОВА НА ВЕТЕР

пролог.....	174
театр приехал.....	176
первая репетиция	178
окно	179
вторая репетиция	180
городской пейзаж	183
спектакль XIX века.....	184
с остановками	186
пейзаж в чистом виде	188
роль второго плана	189

СТАРОСТЬ

Накануне.....	190
После работы.....	191
Перед сном.....	192
В зеркале.....	193
По ту сторону.....	194
В больнице	
«Долго в приёмных покоях...».....	195
«После укола у-...»	196
Старик	
1. Ищет жену	197
2. В силках	198
3. Вспоминает и мудрствует	199
Портрет художника в старости	200

СТИХИ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Осень полковника.....	201
Симфония	204
страна	211

копнешь — и расшевелится,	211
свирепей	211
у окна	213
египетское	215
как бы зиждиться забвеньями?	216
художник	217
там	218
новый гамлет	219
на полях	220
на родине	221
крестный пууть	222
два диалога	
1. in tepido rogo	223
2. non mi destar	224
из Готфрида Бенна	225
псалом	226
еще псалом	228

ДАВИД

1. «Как же тебя изранил...»	230
2. «Ни шалых стад...»	231
3. «Зачем взвихрён...»	231
4. «Мыши вражды шуршат...»	232
5. «Услышь мой голос, Эль-Шаддай, молю...»	233
6. «Едва начнёт растоп...»	233
7. «Порази...»	234
8. «С мольбою, Господи, и стоном...»	234
9. «Твоё Имя...»	235
10. «Возвеселюсь всем сердца торжеством...»	236
11. «Уповаю на Господа...»	237
12. «Спаси, Господь! В чести соблазны...»	238
13. «Господи, утоли мою жажду...»	238
14. «Саула зык: “Он с Господом завет не заключал!” ...»	239
15. «Тот, Эль-Шаддай, не пошатнётся в страхе...»	239
16. «С чужбины песнь моя, Эль-Олам...»	240

17. «Ты испытал моё сердце, Ты посетил меня ночью...».....	240
18. «Господь, моя скала, твердыня...».....	241
19. «Эта твердь...».....	242
20. «Блажен, кому отпущены грехи...».....	244
21. «Смилуйся, Эль-Шаддай...».....	244
22. «О будь благословен, мой Избавитель...».....	246
P. S. Быть	247

Літературно-художнє видання
СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»
Заснована у 2023 році

**Владимир
ГАНДЕЛЬСМАН**

ДОЧЬ И КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ МИРА

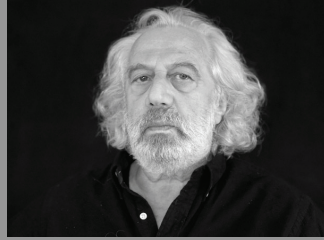
(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка
Друкарський двір Олега Федорова
Формат 60x84 1/16. Наклад 200 прим. Зам. № 5619
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 16
Гарнітура «Cambria». Підписано до друку 29.10.2024 р.

Видавець Федоров О. М.,
«Друкарський двір Олега Федорова»
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,
e-mail: relaks-oleg@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»
Адреса: 07400, Київська обл.,
м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



Иосиф Бродский в письме, адресованном В. Гандельсману и опубликованном в журнале «Континент» № 66, писал: «Стихи поражают интенсивностью душевной энергии», «ошеломляют буквальностью чувств, голой своей метафизичностью, отсутствием слезы», (в них есть) «любовь любви, любовь к любви — самая большая новация в русском стихе, в этом веке запечатленная».



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

